

МИХАИЛ
СМИРНОВ

Урал-
БАТЮШКА



Судьбы людские

Урал-батюшка

Михаил Смирнов
Судьбы людские

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Смирнов М. И.

Судьбы людские / М. И. Смирнов — «ВЕЧЕ», 2026 — (Урал-
батюшка)

ISBN 978-5-4484-5975-7

Сборник рассказов замечательного уральского писателя Михаила Смирнова посвящен деревенским жителям. Автор предлагает поразмышлять о том, что жизнь – это всего лишь маленькая частичка времени, отпущенная человеку свыше, но в то же время это дорога, по которой он идет. У одних она коротенькая, у других длинная, казалось бы, оглянись – и конца-края не увидишь. Но наступает время, когда любой человек, словно раскладывая бесконечные мысли, дни и события по стопочкам, задумывается о сегодняшнем дне и возвращается в прошлое, чтобы еще раз пройти по своей тропке жизни и заглянуть в будущее. А получится ли и каким оно будет – этого никто не знает, и он тоже...

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5975-7

© Смирнов М. И., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

Люди-птицы	6
Два свободных дня	13
Горечь полынная	28
Дом, где всегда ждут	54
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Михаил Иванович Смирнов

Судьбы людские

© Смирнов М.И., 2026

© ООО «Издательство „Вече“», 2026

Люди-птицы

Алёшка, сидевший на крылечке, потёр красные воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок и сразу знобит. Что ни говори – осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закрывает глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает. К ней привязался, когда родители померли. Баба Шура забрала его к себе. Одна жила. Дед Василий давно пропал. Вышел на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне, будто он с нечистой силой водится, но чаще дурачком называли, но баба Шура никого не велела слушать. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудинкой, но все люди такие же, как дед и ничем не лучше, а может и похуже, но скрывают это. И обещала, когда Алёшка вырастет, рассказать про него. Алёшка остался жить с баб Шурой. В школе слабовато учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой, что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет. В одно ухо влетает, а из другого со свистом выскакивает. Сидит на уроках и ворон в небе считает. А бывало по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из класса и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дурачком обзывали, а мальчишки нередко лупили его, а он ни на кого не обижался. Он смотрел на всех и улыбался – широко и радостно. Учителя головой качали, мол, бабка Шурка, ты намучаешься с внуком-то. А когда тебя не будет, совсем пропадёт паренёк. И советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже. Убогие – одним словом. А баба Шура хмурилась, и начинала грозить всеми земными и небесными карами за то, что живого человека хотят на погибель отправить, и говорила, что костями ляжет, но не отдаст родного внука. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек – это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиночку в интернат отдать? И грозила скрюченным пальцем...

Баба Шура повезла внука в райцентр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего лишь капельку, а больше и не нужно. Жалко внука, к жизни неприспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом смеялась, что богатым будет внук-то, и справки показывала, а что там понаписали врачи, чёрт ногу сломает. Махнёт рукой баба Шура и мелко засмеётся, прикрывая беззубый рот уголком косынки. А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает, чем сиднем сидеть дома. Глядишь, копеечку заработает. Какая-никакая, а помощь. Там Алёшке понравилось. Особенно когда разрешали в кабине посидеть. Вот уж радовался! И Алёшка стал в мастерской пропадать с утра до вечера. Особенно когда посевная или уборочная, когда каждая пара рук на вес золота, даже руки убогонького. Вернётся домой, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься, уже засопел. И почти всегда один и тот же сон, будто баба Шура стоит возле калитки и ладошкой машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились. Ни разу. Потому что не помнил их. Так, какие-то образы мелькали и всё. И деда Василия не видел, только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевал соскучиться за день. А она жалела его, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. Всё дождалась, что старшая дочка приедет. Надеялась, что Алёшку к себе заберёт. И не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. В теньке сидишь, как задует, аж сразу начинает знобить. Осень, ничего не поделаешь... Вон дедка Ефим выбрался из дома, не стал на крыльце сидеть, а на лавочку подался, где солнца побольше. На улицу вышел, чтобы с баб Шурой попрощаться, в последний путь

проводить, а потом на лавочке старые кости погреть, покуда солнышко тёплое. Сидит в зимнем пальто с потёртым и облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а он не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посы- похивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся в даль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава, а там чернью отдаёт. Издалека донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался. Вскочил и завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривал и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баб Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят... В осенние дни Алёшка места себе не находил. Закружат птицы над головой, и тут же словно душу в кулак сжимают. Непонятная тревога охватывала, тоскливо становилось на душе, как-то неудобно, но в то же время был необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянуться в струнку, взмахнуть руками, закричать громко и протяжно, взлететь над деревней и помчаться вслед за птицами...

– Алёшка, ну-ка, прекрати! – крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой кружилась стая птиц. – Отойти от края. Упадёшь. Костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был – мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня потешалась, когда он в птицу превращался, – И опять закричала, намахнувшись тряпкой: – Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. Кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало, один пропал, так ещё и внука за собой тащите. Летите отсюда, летите, – и тут же повернулась к Алёшке: – Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт бошку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам квохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застлала. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, хлопает, словно крыльями, а потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. А дед усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. И так, пока последние птицы не улетят... А потом дед Василий пропал. Вышел на двор. Всё на крылечке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула – он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла на двор, гляжу, на крылечке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может, к кому-нить подался. Всё ждала, что вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может, птицы забрали с собой, а может, рассудок потерял и теперь лежит в какой-нить больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я – тоже...

И баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся. Потоптался на крылечке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки¹ бабу Шуру. Она лежала, как принято, три дня в избе, и каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, что сидели возле гробика, неслышно поднимались и меняли свечи, зажигая новые, и опять присаживались на лавку, горестно покачивая головой. Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой. Лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не ухо-

¹ Мазарки – кладбище.

дять. Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одежду, какую Алёшка вытащил из старого сундука – это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она представится, отдать соседям, а они разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, не приспособлен к ней, потому что у него своя жизнь, более понятная для него, где чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать и, как казалось, они понимали его, чем быть с людьми, которые его прогоняли и смеялись над ним – убогоньким. А если баба Шура помрёт, тогда Алёшка может пропасть без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором – его высматривают, как бы с собой не забрали. И тыкала пальцем в потолок. Расстраивалась. И в последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете, и норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось, словно маленького гладит, а он же большой. За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, а потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме тишина, лишь ходики отсчитывали секунды и запоздалая муха сонно колотилась в окне, а потом притихла. Он поднялся. Вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. На него пикировали и опять взмывали, а на их месте другие появлялись и снова взлетали, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали. Алёшка встрепенулся, опять появился какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и... И следом навалилась тоска, словно к земле придавила, аж дышать тяжело стало. Он оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корм насыплет, а он нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе. Зашёл в горницу. Отдёрнул занавеску, где стояла кровать бабы Шуры, и уселся на табуретку, что рядом стояла. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, а по щеке муха ползала, а она лежала и не прогоняла её. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдёрнул. Холодная она – рука-то...

– Баб, вставай, баб, – забубнил Алёшка и снова дотронулся. – Почему лежишь, а? Дай хлеба...

Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздохал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, поддёрнул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к руке и опять отдёрнул, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала, то яблочко совала, то пряник.

– Это... Теть... – Он сунулся в дверь, и затоптался возле порога. – Это... Бабака не встаёт. Я кушать хочу.

И замолчал.

– Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла. – Она заметалась по избе. – Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась, да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи, и ушла. Как же так, а?

И, прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

– Она лежит, – пожимая плечами, повторил Алёшка. – Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одеялку поправил. Бабака замёрзла.

Сказал и зябко передёрнул плечами.

– Ой, божечка, беда пришла, – запричитала тётка Зина, рот платком прикрывала и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом. – Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать маковой росинки во рту не было. Налей

вчерашних щец. Вкусные – страсть! – Она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. – Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегая, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами – не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобится.

Сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит. Заскрипела дверь. Вышел дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора. Алёшка подался следом за ним и вернулся, когда его прогнали. Постоял возле двора, посмотрел, как дядька Кондратий захромал, подтягивая ногу с протезом, и размахивал руками, когда оступался. Взглянул на занавешенные окна, а потом уселся на лавку возле забора. И стал ждать, когда его позовут. Он сидел, поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть. Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка поднимал голову и с тоской посматривал на птиц, которые пронеслись над головой. Поднимался и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, криками подзывая птиц, и рассказывал им, что произошло, а они металась над головой, за собой звали. И Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за птицами. Он бы полетел, да нельзя, как же бабу Шуру оставит одну-одинёшеньку. Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы – это души людские. Его ругала, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские – это птицы...

– Врёшь ты, бабака, – отмахнулся Алёшка, когда она опять взялась ругать его, что кружился на краю высокого обрыва, – что птицы – это души. Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь...

Сказал и тут же получил подзатыльник.

– Нельзя так говорить, ежели не знаешь. – Баба Шура погрозила пальцем. – Ишь, умник-полоумник выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе, кот наплакал! Вот, к примеру, взять плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? – И бабка, подбоченись, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. – Правильно думаешь – в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! – И она опять намахнулась. – У чёрного человека, душегуба какого, душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай бог, ребёночек помер, а у них-то души всегда чистые, значит тому дорога к светлой птице.

– Ага... – недоверчиво протянул Алёшка. – А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком, аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? – Он засмеялся, плечики затряслись, а потом затих, задумавшись, и опять сказал: – А наша деревня тоже в птичек заберётся, а куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а?

И Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

– Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда... – Бабка Шура задумалась, а потом кивнула: – Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога – это птица, которая дятлом зовётся. Ну, ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а помрёт, душа к дятлу отправится и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день землице-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача. Такие важные весною ходят по полям. Тоже кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касается артистов... – Бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала: – Одни в соловьёв перебираются, другие в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые – эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок – птичка-невеличка, зато её вон как с небес слышать. Звенит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженьке поближе. Поэтому и говорю, что у каждого человека своя птица, и у тебя – тоже. Ага...

И утвердительно ткнула пальцем в потолок.

– Баб, а где твоя птичка? – Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом спросил: – А где она?

И задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

– Моя-то? – усмехнулась баба Шура и поправила платок. – Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвернёшься, с пяток можешь умять за один присест, а то и поболее и глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несущку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер.

И тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя баб Шуру несущкой...

Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест, да ещё веночек и маленькие букетики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могилки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задира голову, чтобы взглянуть на стаи птиц, и ему хотелось взмахнуть руками, взлететь и помчаться вслед за ними. С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварила и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера кашу принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли. Выпили. Алёшка сидел в уголке. Сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались. Всё убрали, помыли и тоже ушли.

– Алёшка. – Дверь распахнулась и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну а не появится, тогда в интернате станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй!

Она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один...

Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу. Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу. Тишина... Нет, издалека донеслись крики птиц и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила,

а вместе с ней непонятный восторг и, едва птицы показались в вышине, опять потянуло за ними и снова захотелось разбежаться, раскинуть руки, взлететь и помчаться вслед за птицами...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура позвала. Взглянул и тут же поник. А потом закутался в куртку и притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё прозрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. А может, среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом жалобно вскрикнула и помчалась вслед за стаей...

Поднявшись, Алёшка осмотрелся. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал... Алёшка зашёл домой. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах, что висели в горнице. Алёшке, как казалось, часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел и цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик... Алёшке нравилось смотреть на маятник. Усядется возле стола, смотрит на него, прислушивается к звукам, и сам качается как маятник. И так сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла его. А сегодня бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают, отсчитывая секунды. И сколько они ещё будут работать – никто не знает и Алёшка – тоже...

Он стоял в дверях горницы, но не проходил. В горнице темно. Лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Густой запах воска, тлена, каких-то трав и тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась. Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура говорила, что это отец и мать, а Алёшка не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Он взглянул на фотографию. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать, наоборот, улыбалась. А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался на маленькой кухоньке и присел в уголок, где всегда сидел, и прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка. Муркнула, а потом притихла. Видать, тоже чует, что одни остались. Он скрипнул табуреткой. Взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужжит, забудется и притихнет. С улицы донеслось мычание коров – это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках блеяли овечки, отбившись от стада. Взлаивали собаки лениво, так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут. Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Там собирались. Сидели до первых петухов, ребята показывали свою удаль, гоняя на мотоциклах, а те, кто постарше, парами расходились вдоль речки, находили укромные места и сидели до рассвета...

Он долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда тётка Зина придёт. Потом прислушался. Со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Алёшка затоптался. Тоскливо стало на душе, и в то же время появился непонятный восторг. И Алёшка не удержался. Неуклюже побежал по меже между огородами. Он бежал, размахивая руками, словно крыльями. В сумерках казалось, будто летит. Алёшка выскочил на обрыв и закружился, раскинув руки. Защёлкал, засвистел, птиц подзывая, потом взглянул ввысь, а небо над ним: яркое, тёмно-синее и бездонное. Опять восторг и захотелось взлететь. Он вытянулся в струнку, взмахнул руками и с обрыва шагнул в небо. Шагнул и закричал: громко, восторженно и замахал руками, словно крыльями, и полетел. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками и озёрами и отовсюду к нему присо-

единялись такие же люди-птицы, чьи души в птиц превратились, и они стали подниматься всё выше и выше в синь небесную, навстречу солнцу, и вокруг него был яркий и тёплый свет...

А над деревней опустилась ночь...

Два свободных дня

– Мы не рабы, рабы не мы, – громко продекламировал Шурка Антонов, размахивая рукой, и посмотрел на девчат, а потом стал спускаться с крыльца деревенского клуба. – Брак, девчонки, – это добровольное рабство, как сказала знаменитая артистка. Забыл – какая, но очень умная баба... А я не собираюсь в семейное рабство. Это вы, паучихи, сети расставляете и ждёте, когда мужики попадутся, чтобы их захомутать. Дурак попадёт, а умный, как я, к при- меру, выскользнет. Вот вам, не дождёте, чтобы я в ваши сети угодил! – и показал кукиш.

– Тю, напугал! У нас помоложе есть женихи, а ты уже старик, – наперебой заговорили девчонки на крыльце. – Вон, к бабке Лопырёвой шагай. Одна живёт. Глядишь, приголубит...

И закатились, взглянув на Шурку.

– Сами вы – старухи, – огрызнулся Шурка, закурил и зашагал по тропинке в сторону дома. – Ишь, бабка Лопыриха... Смейтесь, смейтесь, а на мой век девчат хватит. Ага...

Шурка Антонов не хотел, чтобы его захомутали. Не нагулялся, видите ли, чтобы жениться, а соседи в глаза тыкали, что пора своих детей заиметь, а он до сей поры за девочками молоденькими ухлёстывает. Его ровесники давно уж переженились и кучу детишек настрогали. А некоторые успели разбежаться и снова женились, потому что все нормальные люди создают семьи, а он, кобелина этакая, всё не может нагуляться. Мать взялась уму-разуму учить. Отец помалкивал. Сам таким был в молодости, как Шурка. Мать проходу не давала и отца попрекала, что его дурная кровь в сыне играет. Яблоко от яблони недалеко падает. И, не на шутку разойдясь, хваталась за тряпку или полотенце и тогда обоим бабникам доставалось. И Шурка не вытерпел. С матерью разругался в тартарары, уволился с работы, собрал сумку и помчался на остановку. В город укатил.

Город закружил. По улице не пройти, глаза разбегаются, не знаешь, какая девчонка лучше. И с той хочется познакомиться, и с этой, а вон та ещё красивее, а вон у той всё есть и такое, что сразу же хотелось прижаться, а там какая, ох, ты-ы... В общем, модели мира отдыхают. И Шурка пустился во все тяжкие. С работы вернётся, в душ сбегает, в чистое переоденется, одеколончиком сбрызнется, а как же без него, ведь на запах все девки слетаются, как мухи на... Тьфу ты, как пчёлки на цветок. Наодеколонится и помчался девчат с ума сводить, как говорил. В городе много мест, где можно с девчонками культурно отдохнуть и провести свободное время. И отдыхал, и проводил, и все деньги на девчат спускал, какие зарабатывал. Ребята, с кем жил в общежитии, переженились, квартиры получили, а он всё женихался, всё по девочкам бегал. А за тридцать перевалило, он призадумался. А не надеть ли хомут на шею, так сказать. Ну, как сказать, надеть... Он бы ещё побегал, да нужда заставила. Девчонки стали отмахиваться. Зачем нужен старик, когда вокруг них вон сколько молодых парней крутится. И принялись отшивать его, старика тридцатилетнего...

Вот и получается, что Шурку нужда заставила жениться. Всем говорил, но особенно себя убеждал, будто надоело по общежитиям мотаться да всухомятку питаться, а тут подвернулась деваха. Ну, как деваха... Почти ровесница. Наверное, мужика подходящего не нашла, если до сих пор замуж не выскочила, или они мимо проскакивали. Раньше бы сам мимо неё прошёл и не заметил. Ничего особенного в ней. Маленькая, щупленькая, ни рожи ни кожи, как он посмеивался на перекурах, зато с отдельной квартирой. Это не общежитие, где не успеешь чихнуть, а тебе орут, чтобы заткнулся. Но главное, что никуда бегать не придётся, своя баба под боком. Лежи на кровати да поплёвывай в потолок, а она будет улаживать. Эх, красотища!

Всё быстро закрутилось. Почти не гуляли и про любовь не говорили. Не задевали эту тему, а может, считали, что уже поздно им про любовь разговоры разговаривать – возраст не тот и желания не было, а может, думали, что они – эти чувства, лишние в жизни. Два-три раза в кино сходили, потом в кафе сидели, чаёк пили, или кофе брали с булочками, поговорят ни

о чём, и Шурка идёт провожать. В основном он говорил. В деревне-то болтуном прозвали. Наверное, про него было сказано, что боженька язык семерым нёс, а одному достался. Так и получилось. А Шурка говорил, что язык дан для того, чтобы им молотить. И молотил. Всякую ерунду городил. И так увлечённо врал, да ещё с серьёзным видом, что все верили. А бывало, сам начинал верить в то, что придумывал. А уж придумывать был горазд...

Шурка ни разу не был в деревне, как оттуда смотался. Форс держит, отец говорил, а мать, бывало подхватится, в сумки натолкает всяко-разных продуктов и тащится в город. Жалко его, всё же сыночек. А возвращалась, всем жаловалась, как Шурка плохо живёт. Голодует. С хлеба на воду перебивается. Исхудал, кожа да кости остались. И личико-то всего с ладошку, говорила она и вытягивала свою ладонь, будто показывала, а потом показывала, каким Шурка раньше был, и раздвигала руки в стороны, словно хотела обнять необъятное. И опять начинает жаловаться, мол, как же Шурка рожу наест, если в общаге живёт. Там сколько оглоедов обитает – ужас! Не успеет на кухне поставить картошку или супчик, уже кастрюльку своровали. Не успеет чайник вскипятить, тоже спёрли. В столовую не набегаешься – это ж сколько денег нужно, чтобы прокормиться. Столько добрые люди не зарабатывают. Горестно покачивала головой и снова ругала общагу. Куда же милиция смотрит. Вор на воре сидит и воров погоняет – это она про общежитие говорила. А когда узнала, что сын собрался жениться – не поверила, а следом обрадовалась. Помчалась по деревне новость рассказывать. А потом в город отправилась, сына проведать и на будущую сноху посмотреть. Ну и что, что некрасивая, так с лица не воду пить, всё повторяла сыну. Главное, что баба рядышком будет, которая есть-пить приготовит, но самое главное – это квартира, а не твоя общага, где ни днём ни ночью покоя нет. И тыкала пальцем.

Свадьбу решили скромно сыграть. Валентина в первый же день знакомства с будущей свекровью заявила ей, что нечего деньгами сорить. Нечего добро на навоз переводить, всех не накормишь и не напоишь, а то слишком много желающих на дармовщинку набирается, сказала она, взглянув на длинный список гостей, который привезла мать из деревни, а Шурка добавил в него своих друзей. И одним махом вычеркнула почти всех, оставив одних родителей и свидетелей и всё на этом.

– Правильно говоришь, дочка, правильно, – повздыхав, закивала Шуркина мать. – На всех не угодишь и никого не удивишь. Хотя в деревне принято гулять, ну, если нельзя, значит, так тому и быть, – и повернулась к сыну: – А ты, Шурка, слушай, что жена говорит. Плохого не посоветует. О как!

И ткнула корявым пальцем вверх.

– Так это... – неопределённо взмахнул рукой Шурка. – А как же эти?

Наверное, на остальных гостей намекал.

– Обойдутся, – сказала как отрезала Валентина и мелко порвала список гостей. – Потом к ним съездим. Сами навестим. Может быть, когда-нибудь...

Свадьбу сделали у Валентины. Она наотрез отказалась гулять в кафе или ресторане. Пустая трата денег и воровство продуктов, следом поддакнула тёща. А тёща знала всё или почти всё, потому что работала не то бухгалтером, не то экономистом, а сейчас собиралась уходить на заслуженный отдых. Сейчас же, сразу после свадьбы...

– Твоя правда, сваха, – закивала головой Шуркина мать. – Нечего транжирить деньги. Молодым ещё пригодятся. Только жить начинают.

И погладила Шурку по заметной лысине.

– Вы бы помогали молодым, – сказала тёща. – Всё же в деревне живёте. Продукты свои, не покупные. К примеру, сальце или мясо, сметанка с маслицем, гусятинка с курятинкой, здесь мешок-другой картошки да ещё каких-нибудь фрукто-ягод-овошей, и они будут сыты, и денежки целы.

– Конечно поможем, – закивала Шуркина мать. – Всё ж своя кровинка. Как же без помощи-то? Нельзя!

– Вот и ладушки, – сразу заворковала сваха. – Я бы помогла, да нечем. На производстве работала. На мне такая ответственность была, и сказать страшно...

Замолчала, многозначительно поджала губы, округлила глаза и закачала головой.

Свадьба прошла тихо и неприметно. Посидели за столом, выпили. Отец успел до свадьбы назююкаться, пока до города добирались, а за столом приложился к рюмашке и на душе совсем захорошело. На частушки потянуло. Какая ж свадьба да без матерных частушек?! Вскочил, притопнул ногой, матерно заголосил, но тут же рухнул на стул и замолчал, когда жена пнула его по ноге и рванула за пиджак, сажая на место, а потом ещё сунула локтем под столом.

– Неудобно же перед новой роднёй, охламон! Они вон какие умные да интеллигентные, а у нас восьмилетка на двоих и ничего более. Глянь, они про театры и выставки разговаривают, а ты лезешь со своими похабными частушками, бесстыдник! Мы как были деревней, так для них и останемся, а они-то – ого-го! – зашептала жена, косясь в сторону свахи. – Взять нашу сваху, к примеру, она же была ответственной экономисткой на важном производстве! Господи, слова-то, какие...

И неопределённо покрутила рукой в воздухе.

После свадьбы гости стали разъезжаться. Мать целовала сноху, доченькой называла, к себе зазывала, но Валентина отмахивалась. И времени нету, и далеко добираться. Лучше вы к нам. На том и разъехались.

– Слышь, Валька, а тёща не собирается уезжать? – спустя неделю, сказал Шурка, укладываясь спать. – Все умотали, а она, как в своей квартире хозяйничает. По всему дивану расплзлась в зале, даже телевизор не посмотришь. А сунешься, рычит, что загораживаю, или ей места мало на диване. А мне что, на полу сидеть прикажете? В холодильник загляну, она блажит на всю квартиру, будто у неё последний кусок отнял.

– Ты мою мамку не тронь, – сказала щупленькая Валька и погрозила пальчиком. – Она будет жить с нами. Я так решила и... мамка. Пенсию оформила по вредности. Что одной-то прозябать в другом городе. Посидели с ней, подумали и решили, что останется с нами. Не так скучно мамке будет, да и мне помощь в доме, всё же замуж вышла, всё ж мужик в семье появился. Забот полон рот.

И поджала тонкие губы.

Шурка чуть с кровати не грохнулся, когда новость услышал. Ну, ничего себе подарочек на свадьбу! Тёща за эти дни как собака надоела, везде свой нос совала, словно сторожевой пёс, того и гляди свечку в руки возьмёт и ночью встанет возле кровати, а что будет, если вместе начнут жить. Обиделся Шурка. Отвернулся от жены, засопел, уткнувшись лбом в холодную стенку. Но Валька согрела его. Долго успокаивала, пока он не оттаял.

И началась семейная жизнь. Шурке ультиматум выдвинули. Заработанные деньги просто обязан отдавать жене, потому что жена – это три в одном: кассир, бухгалтер и экономист. Все до копейки будет отдавать. Шурка было заикнулся про карманные расходы, а ему кукиш показали. Никаких карманных денег! Строгий учёт деньгам. Копейка рубль бережёт, сказала тёща, а жена выгребла из кармана всю оставшуюся мелочь.

– А это... – он поводит руками и привычно соврал, чтобы хоть немного выпросить на карманные расходы. – Вальк, на работе сказали, что нужно деньги сдать на помощь африканским странам. Голодают они, пухнут. Дай, а?

И застыл с протянутой рукой.

– Там вечное лето, – сказала Валентина. – Они три урожая в год собирают. А ещё у них бананы растут на деревьях и булочки, и ещё что-то... которые мы покупаем в африканских странах за огромные деньги. Обойдутся! Это они нам должны помогать, а мы им – вот! И тебе – вот!

И показала два кукиша.

Шурка завздыхал. Нет, не о такой жизни он мечтал. Он думал, раз женился, значит, жена обязана улаживать его, как в фильмах показывают. Всё-таки мужик – это глава семейства, и его слово – закон, и никак иначе. А получается, что теперь будет жить намного хуже, чем в родной общаге? Вот тебе и женился...

И началась строжайшая экономия. Шурка забыл, что такое посидеть в кафе или заскочить в забегаловку и пропустить пару кружек пива, а мысли про девчат вообще из головы выбросил. Даже пить стал меньше. Можно сказать, почти бросил. Нет, не то что совсем бросил, а местами. На свои деньги бросил – это точно, но если отправлялись в гости и там наливали, он не отказывался. Наоборот, навёрстывал упущенное за время семейной жизни. В общем, при каждом удобном случае, которые выпадали не так часто, но всё же выпадали, он напивался в зюю. А напивался, начинал кочевряжиться перед женой и тещей, пока его не загоняли спать, а наутро плешь проедали, вспоминая вчерашнее, и от себя приплетали, что было и чего не было. Да лучше бы отлупили, чем вдвоём над душой стоять, вздыхал Шурка. И так до следующих гостей. К себе не звали, а к другим ходили, и там Шурка отводил душу, а наутро ждала головомойка. Ворчал, сопел и кряхтел, когда получал эту головомойку, но всякий раз, когда приходил на работу, хвастался, какая у него жена хорошая.

– А что вы, мужики, своих баб хааете? – пренебрежительно махал рукой Шурка. – Всё не так, всё не эдак. А для чего женились, если грязью обливаете? Сами же таких выбирали, – и тут же стучал по впалой груди. – А вот моя Валька – такую бабу нужно поискать. Да-а... Сразу скажу, что днём с огнём не найдёте. Ага... С работы вернусь, она возле меня крутится. Пока раздеваюсь и умываюсь, на стол соберёт. Глядишь, рюмашку-другую нальёт для аппетита, меня накормит-напоит, а потом приласкает, – и жмурился. – Не жена, а золото! Ни разу не пожалел, что женился. А вы только умеете, что своих баб дерьмом мазать. Ага... – и повторил: – А моя Валька – золото! И тёща такая же. Да-а-а...

Вздохнёт задумчиво, причмокнет и качает головой, а может, и сам начинал верить в свою болтовню, а возможно, мечтал, чтобы его бабы, как называл жену и тещу, были такими, какими себе представлял в своих мечтаниях.

Правда, мать, когда бывала в гостях и, возвращаясь в деревню, качала головой, что сыночек весь исхудал, потому что днюет и ночует на работе. А как не исхудать, ежели круглые сутки работает. Семью нужно содержать.

Да, семью содержать – это тяжело, а когда ещё вместе с тещей живёшь – это вдвойне или втройне... нет, многократно тяжелее, потому что у неё запросов больше, чем у родной жены. И никуда не денешься, нужно выполнять, потому что она – мама – этим всё сказано. Тёща заставила его на другую работу перейти. Видите ли, мало зарабатывает, а мужик просто обязан содержать жену и её любимую мамочку, потому что они неразрывно связаны – мама и дочка. Шурка попыхтел, повозмущался, но устроился станочником. В отделе кадров сказали, что будет неплохие деньги зарабатывать, а ещё в цеху или цехе... он уж не помнил, лесом пахнет, словно в тайге на свежем воздухе работаешь. Ага, пахнет... С первого дня Шурка стал пластаться на работе, тягая неподъёмные доски на станки. Цех преогромный! И станков тьма-тьмущая. Куда ни глянь, везде станки стоят и возле них люди, как муравьи бегают. В одни ворота доски завозят в цех, а на другом конце уже готовые изделия на машины укладывают и отправляют по всей стране и всему огромному миру. И шум такой был, аж уши закладывало. Шурка наорётся за день возле станков, домой придет... нет, почти приползёт, а разговаривать силушки нет. Не успеет поужинать, глядишь, приткнулся в уголке и уже сопит, слюни на воротник пускает. Умаялся. Уснул. А утром опять на работу. И снова весь день доски тягает. Вымотался. Кожа да кости остались. Штаны на ходу слетали. Зато тёща раздобрела. Широкая стала, многоскладочная... И жена поправилась. Казалось, даже чуточку подросла, да и вообще... Правда, тёща и жена лучше не стали от этой хорошей жизни, а наоборот. Чем лучше

зажили, тем больше появилось запросов. И то нужно купить, и это, а ещё в магазины заглянуть, какую-нибудь одежду подобрать, а то старая почему-то не налезает. И принимались обсуждать, в каком магазине и что продают, какая блузка к глазам подойдёт, а кофточка к волосам или маникюру, сумочки к носовым платкам подбирали, а потом решали, к кому бы на выходные в гости съездить и обновками похвастаться, а к кому в отпуск податься – это уже дальние планы составлялись. Правда, при этом Шурку забывали. Как был в старых штанах и ботинках, так до сих пор в них и ходил. А что было из новой одежды, так некуда её носить. Весь в работе, весь в заботах. Семью содержать – это слишком тяжело. Ага...

Шурка вздыхал, поглядывая на них. Уж не раз в мыслях жалел, что женился. Да лучше бы один жил или, в крайнем случае, в деревню умотал. А потом задумывался. А разве одному лучше, размышлял Шурка. Опять в общагу возвращаться, откуда едва вырвался, его не тянуло. Может, годы не те, чтобы там жить. Общежитие – общее житие, можно сказать, где всё, что успел нажить непосильным трудом, – это становится общим. А ему хотелось спокойной жизни. Чтобы вернуться домой, прилечь на диване или на кровати, взять газетку и почитать на сон грядущий, или какую-нибудь передачу посмотреть, а рядышком баба, да такая, чтобы ух, прям как даже, а ещё ребятишки бегают... Шурка вздохнул. Опять жениться? Нет уж, одного раза хватило! А в деревню вернуться, кому он нужен там? Снова в клубе штаны протирать, который чаще закрыт, чем работает, а в свободное время в бутылку заглядывать. Так и спиться недолго. Правду сказать, давненько не был в деревне. Думал, вот женится, и начнут туда ездить. Ага, начали... Вальке как всегда некогда и не на кого мать оставить. То у неё простуда, то необъятный живот болит, как бы не аппендикс (лучше бы жрала поменьше, зараза), то радикулит проклятый замучил (правильно, в колобка превратилась, никакие ноги не удержат), то бессонница (днём нужно поменьше дрыхнуть), то ещё какая-нибудь болячка появится... В общем, самая больная тётка в городе, в стране, в мире и его окрестностях. А одного Шурку не отпускали в деревню. Из доверия вышел...

– Знаю тебя, – сразу заводилась Валентина, едва он заикался про деревню. – Не успеешь из дома выйти, начнёшь башкой крутить во все стороны. Ни одну юбку мимо себя не пропустишь. А до деревни доберёшься, так ещё неизвестно, дойдёшь до родного дома или напьёшься со своими дружками, а потом по бабам побежишь. Там же ни одной путной девки не осталось, а про мужиков и говорить не хочется. Алкаш на алкаше и алкашом погоняет, а ты ещё и бабник к тому же. Вот и скажи мне, дорогой, под каким кустом или в каком сарае тебя искать, если поедешь в деревню, а?

И оперев руки в располневшие бока, с прищуром взглядывала на Шурку.

– Так это... – Он пожал плечами. – Мимо дома не пройду. Какие бабы, о чём ты болтаешь? – Он возмутился. – С работы прихожу, едва ноги волоку. Здесь бы с тобой справиться, а ты про других баб говоришь. Тебе не угодить!

И отвернулся, оскорблённый.

– Чёрного кобеля не отмоешь добела. На других шалав всегда сила найдётся, – повысила голос Валентина, а тётка поддакнула на диване. – Вспомни, как после свадьбы съездили. Ну, когда я застучала тебя с девкой в сарае. Помнишь? С той самой поры не отпускаю в деревню, потому что ты вышел из доверия. Целиком и полностью! Дома сиди. Никакой деревни тебе не видать. Свинья везде грязь найдёт.

Наверное, это касалось как девок, так и дружков по пьянке.

– Так это... – Он развёл руками и взъерошил всклокоченные волосы. – Так это... Я ж говорил, что она приходила за картошкой...

– В сарай и за картошкой? – Валентина упёрла руки в бока. – Откуда она взялась в сарае – эта картошка, да ещё в тёмном уголочке, если погреб на другом конце двора находится? Бабник, как есть – бабник и алкаш в том числе!

И она ткнула пальцем.

– Правду говоришь, дочка, правду, – раздался тётчин голос. – Все мужики – сволочи. Всех нужно держать на коротком поводке. Бабники, да ещё какие!

Шурка промолчал, но всё же решил, что при удобном случае, он отправится в деревню. Домой тянуло...

А вскоре такой случай представился. В выходной, едва рассвело, тётца подхватила. Они собрались навестить тётушку в соседнем городе. Тётушка была старенькая, но богатая, и наследники не давали покоя ей. Проводывали, заботясь о её здоровье. Привозили гостинчики, которые сами же и съедали за чашкой чая, а к чаю было всё, что привезли, и даже больше, что ещё смогли найти в тётушкином холодильнике. И каждый наследник изображал из себя самого больного, самого бедного из всех живущих людей, пытаясь разжалобить тётку, чтобы она отписала на него долю – это самое малое, а лучше, если всё отдаст, а они обязуются до последнего её дня носить тётушку на руках. А как не носить, рассуждали они, если у неё и ковры, и хрусталь, и всякие сервизы, а про картины и всякий там антиквариат говорить нечего – любой музей позавидует, а уж сколько денег да золота с брильянтами у неё – про это говорилось шёпотом и всегда с оглядкой. После каждой поездки к этой богатой тётушке, жена с тётцей отставали от Шурика недели на две-три, потому что всё это время они вспоминали и мечтали о том, что сделают, если им достанется наследство. Мечты были грандиозные. Покупка кооперативной квартиры – это всего лишь маленькая часть мечтаний, а там следуют машины, дачи и домик на самом берегу моря и ещё что-то, и ещё... А потом, когда уставали мечтать, они возвращались в реальный мир и снова брались за Шурика. Нет, не то чтобы измывались над бедняжкой, а просто учили уму-разуму. Свой-то муж у тётчи давно сбежал, потом ещё было несколько так называемых мужей, но и они недолго продержались. Кто-то со скандалом уходил, оставляя всё нажитое добро, а некоторые потихонечку уходили, по-английски, так сказать. Утром уйдёт на работу и исчезает, лишь записку приносят от него, мол, дорогая, так больше не могу жить, я ухожу, и меня не ищи, а все вещи можешь оставить себе. Много было мужей, а сколько – тётца не помнила. А после свадьбы доченьки, она взялась устраивать её личную жизнь, потому что у неё был преогромный опыт с мужьями, и она знала, что им нужно, а что не нужно, но всегда при этом добавляла, что этих сволочей, мужиков, необходимо держать в ежовых рукавицах, а ежели дашь слабину, они стараются выскользнуть на свободу и тогда... И тогда тётца с доченькой взяли за Шурика, чтобы он не вырвался на волю.

Едва за ними закрывалась дверь, когда они уезжали к любимой тётушке, Шурик бежал к окну. Стоял, скрывшись за портьерой, наблюдая, как жена и тётца торопились на вокзал. Дожидался, когда они скроются за углом, и принимался наводить ревизию в квартире, доставая спрятанные записки. Мчался в ближайший магазин и покупал бутылку, а то и две водки или вина – это зависело от объёма записки, да ещё хорошенькую закуску прихватывал. Ну, балычок там, сервелатик и прочие деликатесы. Возвращался и устраивал праздник для души, зная, что тётца и жена появятся лишь на следующий день к вечеру.

Так и в этот раз получилось. Шурка вытянул худую шею, затаил дыхание и прислонился ухом к двери, прислушиваясь к нежному тётчиному воркованию и неторопливым шагам на лестнице, на цыпочках подбежал к окну, посматривая из-за занавески, как тётца, словно колобок, катилась по тротуару, а следом семенила его жена. Вот они свернули за угол и исчезли. Всё, укатили! Шурка издал громкий протяжный возглас, но тут же опять выглянул, а вдруг они услышали или что-нибудь забыли и сейчас вернутся, но на улице было тихо. Приплясывая, Шурка подождал несколько минут и кинулся в ванную. Там, под потолком, в вентиляционной трубе лежала его записка в консервной банке. Жена не догадывалась, что Шурка давно готовился к празднику души. По копеечке, по полтинничку, по рублику откладывал и довольно-таки хорошую стопочку скопил, а мелочи – это без счёта, как казалось. И сейчас... Он зажмурился, предвкушая, что сейчас будет.

Первым делом он собрался в магазин. Оделся. Взглянул в зеркало и не узнал себя. Был худоба, а теперь вообще тень осталась. Кожа да кости. Постоял, поморщился, почёсывая небритую щеку. Да уж, покажись в деревне и никто не узнает. Лет пять не был, а может, и поболее того. Шурка наморщил лоб, вспоминая, когда была свадьба, и удивлённо пожал плечами. А ведь он забыл, когда женились. И тут же вздёрнул клочкастые брови. А что тут удивительного, если счёт дням потерял из-за этой проклятушей работы. Не успеет глаза продрать, торопится на работу. Весь день доски тягает, аж в глазах темно становится, а домой вернётся, чуть ли не с ложкой засыпал за столом. Прислонится к стенке и уже засопел. А в выходные бегал на шабашки. Кому-нибудь крышу подлатать, другим перегородку поставить, а третьему окна заменить. Какая-никакая, а копеечка в дом, как жена говорила. Ладно, немного прятал в заначку, а если не успевал, жена быстро находила и тогда у неё не допросишься. Что в руки жены попало, то пропало. Закрутился с этой работой и, правда, забыл, когда женился.

Шурка вздохнул. Взглянув ещё раз в зеркало, он тихонечко вышел на площадку, прислушиваясь к голосам. Лишь бы соседи не заметили, а то быстро жене доложат, что он куда-то уходил. Столько наплетут, что не разгребёшь. Всех соседей предупредила, чтобы за ним присматривали. Шурка постоял, прислушиваясь, потом стал спускаться. Выглянул из подъезда. И быстрее за угол скользнул. А там до магазина рукой подать.

И вернулся так же. Покурил, посматривая на пустой двор. Прошмыгнул в подъезд и взлетел на свой этаж. Щёлкнул замок, и Шурка прислонился к стене. Хоть в шпионы подавайся. Никто не заметил, что он сбегал в магазин и вернулся, держа в руках свёртки и кулёчки, а из карманов торчали горлышки бутылок. Всё, душой и телом к празднику готов!

Шурка разделся. Включил музыку. Пугачиха голосила. Хорошо поёт, зараза, и сама неплоха с виду. Вот такую бы жену, завздыхал Шурка и полез в шкафчик. Поставил тарелки на стол. Рядышком хрустальную рюмку. Водку заранее сунул в морозилку. Уважал охлаждённую. Потирая руки, тоненько нарезал колбаску, возле неё улёгся веером сыр в дырках. Он любил красиво покушать, как про себя думал. Фальшиво засвистел, доставая из холодильника банку с огурцами. Один накромсал кругляшами, а второй распустил на четвертинки, а в серединке краснеют помидоры. Рядышком чёрный хлеб. Селёдка в селёдочнице с лучком и маслицем. Какая ж водка да без селёдочки?! А запах... Шурка покачал головой. Оглядел стол. Нахмурился. Может, картошечку сварить в мундирах или очищенную, а потом махнул рукой – и так сойдёт. Не выдержал. Душа заждалась праздника. Плеснул водочки. Поднял запотевшую хрустальную рюмку. Звучно сглотнул. И торопливо опрокинул. Соскучился. Отломил корочку чернышки. Занюхал. Передёрнул худыми плечами. И блаженно прикрыл глаза. Но тут же опять налил в рюмку и уже неторопливо, поглядев на неё на свет, выпил. И опять застыл, закрыв глаза. Выдохнул. Господи, хорошо-то как! И принялся уничтожать всё, что было на столе. Нет, он не торопился, потому что у него впереди было почти два дня свободы, а это – целая вечность. Чуточку плеснёт в рюмку. Выпьет. Подцепит вилкой огурчик или селёдочку и смакует, причмокивает, а сам жмурится, покачивая головой. Вкуснотища-то какая!

Закурил. Дома не разрешали курить. В подъезд выгоняли или на балкон, а когда жены и тётки не было дома, тогда курил, где хотел, потому что – хозяин. И сейчас закурил. Прошёлся по квартире. Постоял возле фотографии тётки, покачиваясь с пятки на носок. И не удержался. Смачно плюнул и тут же оглянулся, словно его поймали на месте преступления и рукавом протёр рамку со стеклом. Да ну её – эту дурочку! Развизжится, если увидит следы, и не оставишь. И снова не удержался. Сначала язык показал, а потом сделал кукиш и ткнул под нос тётки.

– На-ка, выкуси! – сказал он язвительно и снова ткнул. – Вот тебе, вот... Чем пахнет, а? И тебе – вот. – Он сунул кукиш в соседнюю фотографию, на которой была жена. – Ишь, спелись! Думали, что справились со мной?! Не дождётесь! – Он пьяненько погрозил пальцем. – Я не тот человек, чтобы надо мной всякие там изгалялись. Я, как тот вулкан, когда раскалённая лава

наберётся до краёв, начинается извержение. И тогда берегитесь. Ох, отыграюсь! В пух и прах разнесу всех и тебя – тоже.

И ткнул пальцем прямо в глаз теще.

Шурка смелел на глазах. Бывало, когда выпивал, он становился смелым и грозил всеми земными и небесными карами. И тогда сам себе казался грозным и неприступным. Он выпячивал худую грудь, поигрывал мышцами на тонких руках и рычал, рычал... И ему казалось, что его боятся все, в том числе теща с женой. И Шурка гордо оглядывался по сторонам, словно хотел показать всему миру, какой он смелый. Но никого не было. Он был один в пустой квартире.

Выпил ещё рюмку. Закурил. Постоял возле окна. Деревня вспомнилась. Сразу на душе стало тоскливо. Давно не был. Что-то мать не приезжает. А батя вообще ни разу не был после свадьбы. И он разок съездил и всё на этом. Валька перестала его пускать, когда с соседкой заловила в сарае. Его не пускает, а сама тем более не ездит. Шурка пригорюнился. Сколько лет уж не был. Наверное, его давно позабыли, да и сам уж некоторых не помнит. А раньше-то как хорошо было, когда в деревне жил. Река рядышком. Рыбы немеряно, а грибов и ягод столько, хоть косой коси. Каждый год с отцом заготовливали, а потом мать готовила соленья-варенье. Столько делала, на весь год хватало и ещё оставалось. А трава, какая густая – страсть. И запах, аж голова кругом идёт. Они с батей, с косами на плечах отправлялись на сенокос. Мать не успевала за ними. А вечером возле костра сидели. Запах картошки, свежескошенной травы и влажной земли, а как соловьи заливались... И Шурка, забывшись, попытался выдавить из себя соловьиную трель. Не получилось. И он поник, плечики опустились, завздыхал. В деревню бы...

– В деревню бы... – пробормотал Шурка, а потом встрепенулся. – А почему бы не съездить? Тёща и жена завтра вернутся. Ближе к ночи появятся. У меня же уйма времени!

Он представил, как приедет в деревню. С форсом пройдёт по ней. Пусть посмотрят на него. Позавидуют, как в городе устроился. Будут говорить за спиной, что в люди выбился, что живёт не чета им. А что, и правда, что живёт получше некоторых. И квартира есть, и работа, и деньги неплохие зарабатывает. Пусть тяжело, пусть устаёт, но всё же работает – это главное. И сейчас, если приедет в деревню, не станет по друзьям бегать. Может быть, не станет... А придёт домой, распахнёт дверь и крикнет с порога: «Ну, здравствуйте, родители! Я приехал». Мать, конечно, заплачет, а потом начнёт обниматься. А батя будет хмуриться и ус покручивать, а потом ткнёт руку, как бы здоровается, и всё это молчком. Форс держит, а по лицу видно, радуется. Посидят за столом, как принято с дороги. Какие-никакие дела поделают. В деревне всегда найдётся работа. А вечером в баню пойдут. Попарятся с батей. До одури будут хлестаться веничком! Так, чтобы уши в трубочку сворачивались, а потом выскочат гольшом и бегом до речки и с обрыва – бултых! Только брызги во все стороны разлетятся. И снова в парилку. И опять возьмутся за веники. И так несколько заходов, а потом, едва живые, будут отдыхаться на крыльце. За столом посидят. Повечеряют. Конечно же бутылку поставят. А как же! Сын приехал. Опрокинут по рюмашке-две за встречу. И весь вечер будут пить чай с печеньками и конфетками, да ещё с вареньем. Мамка-то мастерица варить его. А потом выйдут на крыльцо, и долго будут сидеть. Отец засмолит свои папироски. Мать нахмурится и начнёт рукой разгонять дым. Заворчит, чтобы меньше курили, а то можно топор вешать. Может, соседи зайдут. Тогда начнётся долгий и неспешный разговор. Вроде бы ни о чём разговор, а в то же время обо всём. О жизни – тоже. Шурка не станет языком молотъ, как всегда бывало, а будет сидеть и слушать всех, изредка отвечать на вопросы, ещё реже сам говорить. А больше слушать, смотреть и радоваться, что приехал домой, повидал мать и отца, а теперь сидит с ними и на душе радость, и не станет вспоминать, что на следующий день нужно возвращаться в город, потому что два дня вроде бы мало, но в то же время – это целая вечность...

И Шурка забегал по квартире. Сначала убрал со стола. Не то что боялся, а так, на всякий случай. Потом стал искать одежду, в какой не стыдно показаться в деревне. Всё же давненько не был. Пусть люди подумают, что он хорошо... нет, даже лучше всех живёт. Ага, точно – лучше всех! И принялся копаться в шкафах, вытаскивая, примеряя и снова убирая свою одежду. Хотя у него и одежды было – кот наплакал. А куда ходить-то? Поэтому не покупали. Экономили. На работе дневал и ночевал, по шашкам мотался. А редкие дни, когда их звали в гости, жена старалась одна сходить. Иначе Шурка бы напился в стельку. Не хотела позориться, как она говорила, и уходила одна. Ну и пусть! Шурка махнул рукой. Всю одежду перевернул. Ничего сногшибательного не обнаружил.

Джинсы, рубаха, куртка. Хотя, он оглянулся... и достал пёстрый галстук. Потом взял с полки шляпу. Это жена купила. Сказала, так представительнее смотрится, чем в простой кепке. Ага, ещё солнцезащитные очки. Хорошая вещь, удобная. Прикрыл ими глаза, и никто не заметит, куда смотришь, да и вид посерьёзнее будет. Какой-то таинственный, что ли, этот вид, да ещё лицо серьёзное сделать, улыбку убрать. Нечего щериться. Чем солиднее вид, тем больше уважения. Ага...

И вот он уже на вокзал торопится. В джинсах, в рубашке с пёстрым галстуком, в шляпе и тёмных очках, в руке сумка, в ней гостинцы. Пока дома искал одежду, наткнулся на стопочку денег. Это Валька накопила. Видать, что-то решила купить. Наверное, для себя или тёщи, а ему, как обычно, – шиш с маслом. Нет, даже без масла. Просто – огромный кукиш во всю рожу. Не заслужил, как сказала бы тёща. И Шурка, подвыпив, осмелел. Располовинил стопочку, потому что имел полное право, как он считал, и поехал в деревню. В магазине понабрал всякой всячины – это для мамки и для соседей, чтобы пыль в глаза пустить. Ну а для себя и бати – три бутылки дорогой водки и блок сигарет с фильтром – это для форсу, как сказал бы отец. Он привык курить папироски. Да и Шурка смолил «Приму», дёшево, но сердито, а «Интер» взял, чтобы перед дружками похвастаться. Что ни говори, а жизнь в городе в любом случае лучше покажется, чем в деревне, где приходится горбатиться с утра и до ночи. Да, в городе жить лучше, и зарплата повыше, а уж всякие магазины да развлечения – это без счёта. На любой вкус, цвет и кошелёк...

И вот, едва автобус остановился и распахнул дверки, Шурка вышел. Автобус закрипел рессорами и, громыхая расхлябанными дверками, двинулся в соседнюю деревню. Шурка посмотрел вслед. Потом взглянул на пологие холмы, сплошь заросшие лесом, а там речка петляет между ними, вон ветлы виднеются и черёмуховые заросли, и огороды спускаются к реке, а вон дома видны, и крыши у всех разные, возле каждого двора палисадники. И отовсюду запах земли и скошенной повядшей травы... Шурка прерывисто вздохнул. Господи, как хорошо на душе-то! Господи, как тут вольно дышится! Наверное, это и есть настоящая свобода. Свобода от всего, что человека окружает в жизни, а прежде всего, свобода от самого себя, потому что только ты сам себя загоняешь в непроходимое вонючее болото, откуда, как казалось, никогда не выбраться...

Шурка завздыхал. На душе чувствовалась радость. Вот он, прикатил! Душа радуется, аж поёт. И хотелось раскинуть руки и громко закричать, чтобы все услышали: «Вот я, приехал, люди!» Но Шурка не закричал. Ему нужно было форс держать. Потоптался, осматриваясь по сторонам. Потом надвинул шляпу на глаза, поправил тёмные очки, провёл ладонью по лицу, словно стирая с него улыбку, сделал серьёзную и неприступную мину, поправил узкий пёстрый галстук, курточку повесил через руку, а в другую руку взял сумку и неспешно зашагал по улице.

Он неторопливо шагал по улице. Изредка останавливался, если кто-то по дороге встречался. Нет, не разговаривал. Он доставал пачку сигарет, прикуривал, важно кивал головой, изредка приподнимал шляпу, как бы здороваясь, и шёл дальше, попыхивая сигареткой, а люди смотрели ему вслед и не могли признать, кто же это был в тёмных очках да ещё такой важный из себя и в галстук. Не иначе с району прикатил. Какой-нибудь лектор, а может, и начальство

прибыло, кто его разберёт. Вон как важно вышагивает, словно аршин проглотил! И тыкали вслед пальцами, и шептались за спиной.

А Шурка шагал, с гордостью выпячивая впалую грудь. Он словно спиной чувал, что ему вслед смотрят и обсуждают. Наверное, гадают, кто такой серьёзный прикатил, да ещё в шляпе. Наверное, правду говорят, что всё дело в шляпе. По ней встречают, а провозжают...

– Здравствуй, дед Макарий. – Шурка не удержался, чуть приостановился и приподнял шляпу, здороваясь со стариком, который сидел возле двора. – Как поживаете, дедушка?

Старик прищурился. Приложил ладонь к глазам, всматриваясь, а потом покачал головой.

– Не признал, – развёл руками старик. – Извиняй! Чать по делам приехали, да? Так никого же нет в конторе. Выходной, говорят, а бригадир уехал в поле. И контора-то в другой стороне.

И ткнул пальцем, показывая.

– Это ж я, Шурка, – сказал довольный Шурка и снял очки, а потом снова надвинул на нос и повторил: – Шурка Антонов... Сын дядь Пети и тётки Марьи Антонихи.

– И правда, Шурка, – закачал головой старик. – Глянь, какой важный стал. Не иначе начальником заделался! В галстук да в шляпе. Ни за что бы ни признал, если бы не окликнул. Глянь, что город с человеком делает! В люди вышел. А мы, как жили в навозе, так и помрём в нём же.

И махнул рукой.

Едва Шурка стал подходить к магазину, как распахнулась дверь и на улицу вышел мужичок, одетый в замасленные штаны с пузырями на коленях, такая же куртка, из-под которой была видна серая когда-то, а сейчас непонятно какого цвета рубаша с грязным воротником. Он вышел. Закурил, укрываясь от ветерка. Шагнул было на тропинку, а потом остановился и с недоумением долго всматривался в приближающегося Шурку.

– Антоха, ты, что ли? – так в деревне прозывали Шурку. – Гляжу, гляжу, вроде наш, а в то же время чужой, как показалось. – И опять сказал: – Ты что ль, Саня?

– Здоров был, Кирия, – тоже, как в далёком детстве, назвал Шурка своего друга. – Я приехал. Давненько не был. Красота-то какая!

И обвёл рукой окоём.

– Фу ты, ну ты! – Кирилл покачал головой. – Пряма начальник, да и только! – повторил за стариком. – Глянь, что город с людьми делает! Стал каким-то таким...

И неопределённо покрутил в воздухе рукой.

– А ты как был грязнулей, так и остался, – ткнул пальцем Шурка. – Наверное, ни разу не снимал, как на работе выдали. Всё та же, как мне кажется. Хоть бы постирал, а то скоро переломится от грязи.

И хохотнул, но тут же стёр улыбку с лица и сделал серьёзную мину.

– Что болтаешь – грязнуля?! Баба каждую неделю стирает, – похлопал по спецовке Кирилл. – У меня такая работа. Это у вас в городе каждый год, а бывает, почти каждый месяц дают спецовки, а у нас выпросишь одну, вот и носишь, пока не истлеет. Хоть на работу одевай, хоть на празднике красуйся. И не допросишься у бригадира. А что кладовщик? Нет распоряжений, нет спецовки и всё на этом. – И тут же сказал: – Ты надолго приехал? Домой идёшь?

– Может, и домой, – так неопределённо сказал Шурка. – Давно не был. Решил проведать, пока свободное время появилось.

– Так это... – Кирилл распахнул куртку, и за поясом сверкнула бутылка дешёвого вина. – Одному не хочется, может, раздавим пузырёк, а? Встречу отметим, так сказать...

И звонко щёлкнул по кадыку.

Шурка задумался. Выпить-то можно, а что потом будут говорить в деревне. Скажут, Шурка Антонов прикатил, сам из себя важный и нет чтобы домой пойти, он с дружкой бормотухи нализался. Каким был охламоном, таким же и остался. А с другой стороны, если посмот-

реть, нельзя отказываться, потому что люди неправильно поймут. Пригласили, а он отвернулся. Сразу скажут, что не уважает. А не уважает потому, что в городе живёт. Отсюда следует, что уехал в город и зазнался. И такого наговорят, такого припишут, хоть стой, хоть падай.

– Ну-у, выпить-то можно, – как бы нехотя протянул Шурка и оглянулся. – А где расположимся? Не посередине улицы разливать же...

– Так это... – Кирилл завертел головой и махнул. – Айда к Петьке Нечаеву. У него баба в город уехала. Сам до райцентра добросил. У него посидим. Раздавим пузырь. И закусь есть. У меня всё предусмотрено.

Хохотнул и, покопавшись в кармане, вытащил помятый плавленый сырок и несколько карамелек в замусоленных фантиках.

Добравшись, Кирилл распахнул калитку, они зашли во двор, и он, стукнув в окно, уселся на крыльце и закурил, попыхивая дешёвой сигареткой.

Донесли шаги. Заскрипела дверь, и, пригибаясь, выглянул взлохмаченный мужик в семейных трусах и в линялой майке. Зевнул, почёсывая волосатую грудь, и забасил.

– Что надо? – Он посмотрел на Кирилла. – Думал, сосну минуток несколько, а тут тебя принесло. – И опять сказал: – Что надо?

– Так это... – Кирилл запнулся, потом звонко щёлкнул по кадыку и тут же указал на Шурку, который продолжал стоять возле крыльца. – Глянь, Петька, кто приехал к нам. Столкнись на улице, не узнаешь. Ишь, как вырядился, гусь лапчатый. Прямо чистое начальство и только!

И хохотнул, наблюдая, как Петька Нечаев хотел было зевнуть, раскрыл рот и застыл, с недоумением всматриваясь в Шурку, а потом расплылся в широкой улыбке, показывая неполный ряд выщербленных прокуренных зубов.

– Язви его в душу, – забасил он и ткнул толстым пальцем в Шурку. – Язви его... Антоха-картоха приехал! И правда, не признаешь. Очки надвинул, шляпу напялил – чисто начальник. Каким же ветром занесло тебя, Санька?

И, подтянув сползающие трусы, зашлёпал босыми ногами по скрипучему крыльцу.

– Ну, здоров был, – сказал Петька Нечаев, протягивая широченную мозолистую ладонь. – Здоров, чертяка!

Шурка поздоровался. Ни улыбки, ни радости. Маска, вместо лица.

– Ну, неси стаканы, – потирая руки, заторопился Кирилл и принялся выковыривать пробку. – От затолкали, сволочи, даже не вытащишь.

– Подожди, – неторопливо сказал Шурка, вжикнул замком на сумке и вытащил оттуда бутылку водки. – Я вино не употребляю, как женился. Супруга запрещает. Говорит, мол, нечего всякую дрянь пить. И хорошую покупает. Заботливая, – и показал бутылку. – «Посольскую» за встречу выпьем. Мне не жалко.

И небрежно поставил бутылку на крыльцо.

– Ох ты! – восхищённо протянул Петька Нечаев, взял бутылку и покрутил в руках, рассматривая. – А у нас такая не появлялась. Ну и как она, язви её в душу?

И звучно щёлкнул по горлу.

– У каждого свой вкус, – как-то уклончиво сказал Шурка. – Одни любят одеколон пить, другие дешёвое вино, – он не удержался и кивнул в сторону Кирилла. – Ну а я предпочитаю «Посольскую». Мягкая она, чистая.

И всё это было сказано без улыбки, без всяких эмоций на каменном лице. Шурка считал, что каменное выражение лица – это первый признак серьёзности и ума.

– И часто предпочитаешь? – с ехидцей поинтересовался Кирилл. – Или купил, чтобы в деревне пофорсить? Ты же трепач! Такого нагородишь, семерым не расхлебать.

И хохотнул.

– Ну, как часто... – Шурка играл свою роль серьёзного человека. – В моей семье принято, чтобы каждое утро и в обед по стопочке, ну а вечером можно позволить две-три на сон грядущий. В выходной, к примеру, могу бутылочку уговорить под хорошую закуску. Ну, там икорка, буженинка, сервелатик, грибочки, селёdochка с лучком да под картошечку. Ух, за уши не оттащишь! Ага...

Сказал и, чуть склонившись, опять застыл, словно изваяние.

– Так никаких денег не хватит, чтобы столько выпивать, язви тебя в душу, – запнувшись, сказал Петька, долго шевелил губами, видать, подсчитывал, и снова покрутил бутылку. – Наверное, дорогушая, зараза?

– Не дороже денег, – так, с лёгкой небрежностью, сказал Шурка. – Я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе такую водку. Коньяк не уважаю. И виски пробовал. Чем-то на нашу самогонку смахивает, правда, послабже будет. А вот «Посольскую» уважаю.

Качнул головой, поправил тёмные очки и снова застыл.

– А мать, как съездит в город, всё по деревне жалуется, что плохо живёшь, – сказал Кирилл и слотнул, когда Петька принялся разливать водку. – Худой, аж просвечиваешь. И правда, дохлятина! Не кормят тебя, что ли? – И тут же сказал: – А кем работаешь, если такие деньжищи тратишь на водку, а?

– Ладно, мужики, давайте-ка опрокинем по стопочке, – влез в разговор Петька Нечаев и, не дожидаясь, быстро опрокинул стопку и передёрнулся. – Фу, гадость! Как её татары пьют?!

И тут же засмеялся.

Шурка медленно выпил. Почмокал губами, ни один мускул не дрогнул и даже не поморщился. Никаких эмоций. Словно маска на лице. Стопку на крыльцо и опять застыл.

Взяв рюмку, Кирилл на мгновение застыл, потом двумя пальцами зажал крупный рыхлый нос, торопливо опрокинул стопку, кадык ходуном заходил, проталкивая водку внутрь, зажмурился и снова застыл, словно прислушивался, а что же внутри делается, а потом облегчённо вздохнул.

– Фу-у, привилась, кажись, – выдохнул он и, схватив кусочек плавленого сырка, стал жевать. – Вчера перебрал. Утром голову от подушки не мог поднять. Чугунная! Ага... Баба ругается, а мне и без неё тошно. Послал её. Далеко! Собралась и ушла. Наверное, у соседей сидит, на меня жалуется. Ну сиди-сиди... Всё равно мимо дома не пройдёшь.

Сказал он снисходительно и опять потянулся к стопке.

– Послал... Это она ушла, чтобы твою пьяную рожу не видеть. Я ж смотрел, как ты на бровях полз, – басисто хохотнул Петька. – Окликнул тебя, а ты словно не слышишь. Видать, на автопилоте был, язви тебя в душу.

Опять хохотнул, звякнул полными стопками и кивнул.

Выпили.

Шурка достал пачку сигарет с фильтром. Закурил. И протянул пачку.

– Угощайтесь, – с каменным лицом сказал он и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Лёгонькие. А запашистые – страсть!

Кирилл отмахнулся. Свои достал и задымил. А Петька Нечаев кое-как вытащил корявыми пальцами сигарету, прикурил, затянулся и зашёлся в долгую кашлю, а потом сплюнул, затушил об ладонь окурки и выбросил на улицу.

– Как такую дрянь люди курят – не понимаю, – продолжая кашлять, натужно сказал он. – Настоящая вата! Лучше самосад курить, чем всякие импортные. Ерунда!

Сказал, поморщился и махнул рукой.

– Ну, Антоха, хвались, как в городе живёшь, – сказал заметно оживший Кирилл. – Как баба, как сам? Вообще, рассказывай, а то твоя мамка ничего путного не говорит. Только и делает, что жалуется. Наверное, все бабы такие, – и тут же повернулся к Нечаеву: – Петька, плесни ещё грамульку. Кажись, привилась.

Шурка помолчал. Форс держал. Выпил полстопки и поставил на крыльцо. Закурил. Сквозь тёмные очки с прищуром посмотрел на дружков.

– Хорошо живу, можно сказать. – Он выпустил тонкую струйку дыма. – Работа ответственная. Если меня не будет, всё производство встанет, а за ним другие заводы, потому что у нас всё взаимосвязано. Да, представьте себе...

И свысока взглянул на них, мол, видите, какой я ценный работник.

– Ох ты, – протянул Петька Нечаев и поддёрнул широкие трусы. – А кем работаешь?

– Специалистом по древесине, – важно сказал Шурка и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Да, можно сказать, что почти самым главным специалистом. Если я заболею, не дай бог, вся линия встанет, а за ней и производство. Делайте выводы. Это не коровам хвосты крутить или на тракторе ездить. Жена... А что жена? Как у Христа за пазухой живёт. Не успевает деньги в кубышку складывать. Вот собираемся новую мебелишку брать, и машина не за горами, а осенью, как в нашей семье принято, поедем на море. Бархатный сезон начинается. Всякие овощи там, фрукты... Немного отдохнём.

Шурку понесло. Он любил приукрасить, а сейчас не то что приукрасить, а нагло и бесовестно врал. Много и уверенно. И так правдоподобно, что сам стал верить своему вранью.

– Да, отдохнём, а потом, полные сил, снова возьмёмся за работу, – покачиваясь с пятки на носок, говорил Шурка. – Тёщу к себе забрал. Пожалел. Одна в другом городе прозябала. Сейчас с нами живёт. Не нарядует. Я не обижаю её. И она той же монетой платит. Ага... Не успею с работы зайти, тёща мчится в ванную и воды набирает, чтобы я сполоснулся. Чистый полотенчик повесит, халат прогладит, чтобы тёплый был. А жена бежит на кухню. Пока моюсь, на стол собирает. Халат наброшу. Зайду на кухню, а они ждут меня. Не успею за стол сесть, одна ложку с вилкой подаёт, а другая рюмочку пододвигает. Выкушай, кормилец, стопочку для аппетита! Ну, я немного покочевряжусь. Поковыряю вилкой в тарелке и отодвину. Говорю, мол, пересолила, в рот не возьмёшь. Жена, ах, и в обмороки падает, а тёща вокруг мечется, дует на неё, нашатырку в морду суёт, в чувство приводит. А я рассмеюсь и говорю, что пошутил. Они обе, ах ты насмешник этакий! И хохочут, и заливаются, и пальчиками грозят...

Шурка врал самозабвенно. Закрыв глаза, он говорил без остановки, а перед ним вставала картина этой жизни. Этой, про которую сочинял, а не настоящей. И ему не хотелось возвращаться в реальную жизнь, где намного хуже, чем в мечтаниях. И он продолжал врать. А друзья сидели и внимательно слушали его.

– Ты глянь, как стал жить, язви его в душу, – удивлённо покачивая головой, сказал Петька Нечаев. – Никогда бы не подумал, что так в жизни устроишься. И квартира есть, и денег куры не клюют, по курортам разъезжает, и тёща золотая, а уж про жену и говорить нечего. Всем бы таких баб. Вот бы зажили мужики, а то всю жизньшку мучаются, бедняги!

И прикрыл глаза, причмокнул, представляя эту жизнь.

– Трепло, как есть – трепло, – неожиданно сказал Кирилл и отмахнулся. – Слышь, Петька, что веришь ему? Он был трепачом, им же и остался. Ты сидишь и уши развесил, а Шурка лапшу на них вешает. Болтун!

Громко сказал и ткнул пальцем в Шурку.

Шурка оскорбленно промолчал. Он держал форс.

– Да ну-у... – протянул Петька Нечаев. – Он же на полном серьёзе говорит. Глянь на него. Значит, правду говорит, язви его в душу. А ты – трепло, трепло... Просто завидуешь, что человек хорошо живёт. У самого-то баба какая. Как огня боишься её, а туда же...

И поморщился, не объясняя, куда же. Закурил. Попыхал, поглядывая на смурого Кирилла и неподвижно стоявшего с каменным выражением на лице Шурку. И мотнул головой, словно застоявшийся жеребец. Пригладил взъерошенные лохмы. Громко зевнул, почёсывая волосатую грудь и схватив бутылку, поровну разлил остатки водки.

– Ну, мужики, чтобы нам так жилось, – вздохнув, сказал он, выпил, посмотрел на хмурого Кирилла и добавил: – А может, и правда брешет, язви его в душу!

И покосился на Шурку.

Шурка продолжал молчать, будто не его касалось.

А Кирилл повеселел, когда на его сторону как бы встал Петька Нечаев, который тоже засомневался.

– Вот и я говорю, что трепло и всё на этом, – махнув рукой, сказал Кирилл, а потом достал бутылку. – Что, раздавим пузырьёк, мужики?

Он сказал примирительно.

– Да ну... – поморщился Петька Нечаев. – После вина башка заболит. Спрячь. У меня самогонка есть. Чистая как слеза. Я утром к бабке Наумихе бегал. Купил бутылку. Как чуял, что вы заглянете. Сейчас...

И, поддёрнув трусы, скрылся на веранде.

– Будешь? – Кирилл показал на бутылку.

Шурка покосился и мотнул головой, отказываясь.

– Ну, как хотите, была бы честь предложена, – развёл руки в стороны Кирилл, а потом приткнул бутылку за пояс. – Мне больше достанется.

И хохотнул, довольный.

Вышел Петька Нечаев. В руке держал бутылку. В другой была пара огурцов и кусок чёрствого хлеба.

– Извиняйте, язви вас в душу, не в городе живём, – сказал он и положил закуску на голые доски. – Чем богаты, тем и рады.

И потянулся за стопками.

Шурка стоял, прислонившись к перилам, и смотрел на деревню. Душа радовалась при виде домов и палисадничков, а там видны поля. Одни уже золотом покрываются, а другие ещё в зелени стоят. А там речка кружит между пологими холмами. Её легко проследить. По берегу ветлы растут да черёмушник стеной. Хорошо видно! А вдоль речки стадо бредёт. Наверное, на водопой пригнали. Вон кучкуются. Напьются и будут отдыхать, пока пастух не поднимет. Загавкала собака и куда-то промчалась мимо двора. Следом заголосил петух. Громко, протяжно и тут же завторили другие, стараясь друг дружку перешеголять. Господи, хорошо-то как!

Шурка вздрогнул, когда ему ткнули в бок и стали совать стопку с самогонкой.

– Не буду, – сквозь зубы процедил Шурка. – Не уважаю самогонку.

Да, он мог бы достать ещё бутылку и ещё одну, а что же отцу-то принесёт. Чем его угостит, когда из бани вернутся? Нет, не жалко было. Он не мог пустым домой прийти. Всё же в гости приехал. Всё же из города прикатил. А в городе, что ни говори, другая жизнь. Куда намного лучше деревенской, да и денег побольше получает, чем они – родители. И вообще, у него жизнь удалась. Пусть смотрят и завидуют. Господи, как же он соскучился по деревне. По деревне и по отцу с матерью.

– Я пошёл домой, – сказал он и поправил шляпу, ткнул пальцем в тёмные очки и шагнул к калитке. – Давно не был. Мои, наверное, заждались. И работа накопилась, пока меня не было. Нужно помочь.

– Ну, если не хочешь выпить... – протянул Петька Нечаев и почесал волосатую грудь. – Мы одни уговорим пузырьёк, да, Киря? – И тут же опять к Шурке: – Твой батя крышу латает. Прохудилась. А ты, Антоха, когда обратно собираешься?

– Завтра уеду, – чуть приостановившись, сказал Шурка. – Работа ждёт. Мне нельзя подводить людей. Иначе всё производство встанет. Незаменимый человек, так сказать. Как-никак, считаюсь самым главным специалистом по древесине.

Сказал и направился по тропинке.

– Трепло, – вслед буркнул Кирилл и подставил стопку. – Наливай, а то выдохнется.

– А мне кажется, что не врёт, – засомневавшись, забасил Петька Нечаев. – Глянь, какой серьёзный. Даже ни разу не улыбнулся. И в шляпе, и с галстуком. Как пить дать – начальник, язви его в душу. В люди вышел. Ну, Киря, вздрогнем...

Он опрокинул стопку и весь съёжился, замотал головой и поморщился. Ох, крепка!

А Шурка неторопливо шёл по деревне. Он смотрел по сторонам, приподнимал шляпу, здороваясь с соседями. Одни узнавали его, а другие не признавали и сидели, всё гадали, кто же это приехал. А он степенно шагал, и в душе была радость. Глядел по сторонам и радовался каждому дому, каждому встречному человеку, и даже чёрной лохматой собаке, которая мимо него пробежала и не гавкнула. За своего приняла, а может, и признала. Хоть Шурка живёт в городе, где, как казалось, жизнь лучше, а всё-таки в душе остался деревенским. Он шагал и старался не думать, что завтра вернётся в город и опять начнётся эта проклятущая жизнь, от которой он сбежал. Сбежал всего лишь на два дня, но и этого было достаточно, чтобы в его душе появилась искренняя и большая радость, потому что Шурка приехал не в гости, он вернулся домой, где всегда его ждут. Всего два свободных дня, вроде бы так мало, но в то же время – это целая вечность.

Горечь полынная

Глухая ночь. Город спит. Пустынные осенние улицы. Уж который день летит мелкая морось, скрывая редкие тусклые фонари в туманной дымке. И свет этих фонарей не достигал земли. Словно светящиеся шары повисли в воздухе. Слышны редкие шаги по ночным улицам. Одни торопятся, словно чего-то опасаются, а другие ничего не боятся и шагают вразвалочку, как хозяева ночных улиц. Новая жизнь и новые порядки. Одним в радость, а другим...

Геннадий Мурашов стоял в дверях подъезда. Поежился. Холодно. Запахнул куртку. Натянул кепку на глаза. Руки в карманы и скукожился, пытаюсь спрятаться в поднятом воротнике. Порыв холодного ветра и тут же зазнобило. За порогом промозглость. Сейчас бы дома сидеть с кружкой горячего чая или лежать под теплым одеялом, включить транзистор, пусть потихонечку бормочет, и слушать, как шипит осенняя морось за окном, а вместо этого, он стоит в подъезде, словно щенок бездомный, который забился в угол и потихонечку поскуливает, не решаясь выйти на улицу.

Геннадий засиделся в гостях. Честно сказать, не хотелось уходить, и тянул время. Не было желания возвращаться по мерзкой погоде в холодную холостяцкую квартиру, где и поговорить-то не с кем, разве что какой сосед забежит на минутку и все на этом.

Геннадий пришел в гости к старому знакомому. На кухне устроились, чтобы не мешать супруге смотреть сериал. Высокий и нескладный Геннадий заглянул в зал, поздоровался с ней, прошел на кухню, сунулся в угол и уселся на табуретку возле стола. Вытянул худые ноги в промокших носках. Серый свитер в затычках и катышках, все равно под курткой не видно, воротник растянулся, из-под него зеленая рубашка виднеется. Худая тонкая шея и крупный кадык. Вытянутое худое лицо. Недельная щетина. Унылый крючковатый нос навис над тонкими губами. Хмурый недовольный взгляд из-под густых бровей. Давно нестриженная и невымытая шевелюра на голове. И немного оттопыренные уши. Прядки волос свисают на воротник. В мокрых руках зажата шахматная фигура. Он смотрел на шахматную доску и думал. Делал ход и потирал руки, а потом тянулся к бокалу с чаем. Глоток-другой и снова взгляд на шахматную доску. Хорошо было в гостях. И не хотелось уходить. С давним знакомым, Николаем Носковым, играли в шахматы и разговаривали за жизнь. Вроде все уж было переговорено за долгие годы знакомства, но темы всегда находились. И сейчас прошлое вспоминали. Геннадий рассказывал, как жил в деревне, как с пацанами шкродничал. И не заметил, как время пролетело. Радовался, хоть наговорился вдоволь. Но в то же время, как представит, что тащиться через весь город, да еще в ночное время, и сразу настроение портилось. Но храбрился. Мол, доберусь. Раньше через весь город ходил по кварталам и ничего не боялся и сейчас добегу. Да кому я нужен? В такую непогоду хулиганье дома сидит. И что с меня взять, кроме анализов, да и те с глистами? Ну и все в таком же духе...

– Ну, смотри, – позевывая и почесывая живот, закартавил невысокий Николай Носков в линялой майке неопределенного цвета и растянутых трико, которые то и дело поддегивал. – А то бы еще партеечку сыграли, потом спать завалился на раскладушке на кухне. Конечно, это не родной диван, но все же лучше, чем шагать по ночному городу. Бр-р!

И передернул плечами.

– Правда, Ген, оставайся, – сказала супруга Николая, поправляя фланелевый теплый халат, и, прикрывая рот ладошкой, украдкой зевнула. – Что в такую мерзкую погоду идти – не понимаю... Переночевал бы, утром позавтракал и пошел бы домой. А так...

Она пожала плечами.

– Спасибо, друзья мои, но пойду, – запахнул куртку Геннадий и взялся за дверную ручку. – Если решил, значит, так тому и быть.

И вышел на лестничную площадку и затопал по лестнице.

А теперь стоял в подъезде и не решался выйти на улицу, прислушиваясь к шороху осенней мороси и ночным звукам, и жалел, что не остался с ночевьем. Не осеннего дождя боялся, а ночного города...

Осень на дворе. Тьма в окнах и за окнами. Новая жизнь приучила к этому. Экономия должна быть экономной. За окном редкие тусклые фонари горят – этого вполне хватит, чтобы ложку мимо рта не пронести, кто захочет ночью поесть. Смешно сказать – ночью жрать. Здесь у многих головы болят, как прожить на нынешние зарплаты, которые месяцами задерживают. В магазинах глаза разбегаются от всевозможного товара. Кажется, всё бы купил, но взглянешь на ценники и дурно становится. Это же кто такие зарплаты получает, чтобы в наших магазинах отовариваться...

Геннадий Мурашов вздохнул. Пешком шагать в такую мерзопакостную погоду на окраину города – это геройский поступок. Он не герой и жизнь одна, и одежда старенькая, и сам уж не такой прыткий, чтобы отмахаться от хулиганов или сбежать, и осенняя промозглая погода, и... И этих «и» было очень много. Но в то же время подмывало, что нужно шагать домой. В гостях хорошо, а дома спится лучше, хотя его никто не ждет. Эх, жизнь жизнь – горечь полынная!..

Геннадий вспомнил бывшую супругу, как она обрадовалась перестройке. Одним горе, а для других – радость. Валька при советской власти не хотела работать на эту самую власть. Он уж сколько раз винил себя, что не нужно было ей потакать, а стукнуть кулаком по столу и отправить ее на фабрику, если так хочется заниматься шитьем. А он пожалел ее – маленькую и худенькую, как она будет пахать на этой фабрике. Думал, после замужества пройдет эта дурь. А спохватился, уже поздно было. Она слушать не хотела его. Устроилась сторожем в небольшую конторку. Главное, что запись в трудовой книжке была, а сама шмотки на заказ шила, а по выходным уезжала в соседний город и торговала на рынке. А бывало, к ним приходил неприметный мужичок, который забирал готовый товар и тут же выкладывал денежки за него. И Валька, едва закрывалась дверь за мужиком, раскладывала деньги на столе и принималась хвастаться, что не он, а она в доме мужик и главный добытчик. Это она кормит его и содержит – тоже. И шмотки на нем куплены на ее деньги, и спасибо сказал бы, что терпит его, а не выгоняет, как другие сделали, и... И этих «и» было несчитано. И все в ее пользу...

– А как же моя зарплата? – возмутился Геннадий. – Между прочим, у меня шестой разряд слесаря и руки золотые, как говорят, и моя зарплата одна из самых высоких на заводе, а доплаты за рацпредложения, а дежурства в выходные – это не считаешь? Раньше хвасталась подругам, что я много зарабатываю, а теперь оказывается, что я нахлебник. Знаешь, Валька, не нравится, тогда ищи другого, а попрекать меня не нужно.

– Твоих копеек не хватит даже мне на пудры и помады, – пренебрежительно отмахивалась Валька. – Раз в полгода дадут копейки, чтобы с голоду не подохли, и живи как хочешь. А жрать просишь каждый день. Даже три раза в день, да еще повкуснее. И куришь через каждые пять минут. Не напасешься! А сам не думаешь, на какие шиши тебя кормлю, пою и одеваю. Молчал бы уж – добытчик! Тоже мне – мужик!..

Разлаются. Валька подхватит баулы с товаром и опять куда-то уезжала. И так до следующего раза...

– Ты, Генка, открыл бы кооператив, как некоторые делают, да зарабатывал деньги, – опять завелась супруга. – Мне надоело слушать рассказы, что деньги не дают, что задержали. Я что, должна разорваться? Ты каждый день за стол садишься и не спрашиваешь, откуда взяла. Мне осточертела такая жизнь. Это твои проблемы, что вам деньги не выплачивают. Думай. Иначе...

И Валентина неопределенно покрутила в воздухе рукой.

– Ты куском хлеба попрекаешь? – взвился Геннадий. – Я плевал с колокольни на эти деньги. Все словно с ума посходили. Одно на уме – деньги! А мне плевать на новую жизнь и на вас – тоже. У тебя вместо мозгов счетная машинка стоит, сколько можно содрать с клиента. А

других мозгов, которые думают о семейной жизни, – нет, не было и не будет. Знаешь, Валька, порой думаю, зря женился на тебе. Столько хороших девок вокруг было, а угораздило в тебя влюбиться – маленькую и плюгавенькую. Мимо пройдешь и не заметишь. И что хорошего в тебе нашел – не понимаю... Хотел семью и детишек, а получил швейную фабрику. С утра и до ночи машинка тарыхтит, и вся квартира в склад готовой и неготовой продукции превратилась. Вот тебе и любовь, и дружная семья, и куча ребятишек...

Он вздохнул.

– И я думала, что выйду замуж. И у нас будет все, что душе угодно. Как сыр в масле станем кататься, как ты обещал, но все осталось на словах. Ни денег, ни масла с сыром – ничего! Зато у тебя есть брат – дурачок, из-за которого даже детей заводить опасно. Ладно, буду думать своей счетной машинкой, которая вместо мозгов у меня, как ты говоришь, как мне дальше жить, – сказала Валька. – А ты сиди у разбитого корыта и мечтай о семейной жизни...

Встречи и презентации, ужины в ресторане и на природе, но без него, поездки с товаром и без товара и тоже без него. Один знакомый подвез, другой, а это старый друг, с кем тыщу лет не виделись. И снова друг, и опять друг... Геннадий давно стал подозревать неладное, но ругаться не хотелось. Ведь он же и сам не без греха. Жена в поездку и он за порог. Но всегда возвращался. Думал, обойдется и она вернется. Все же семья, что ни говори, хоть и не было детей. Но в один прекрасный денек она подала на развод и на раздел квартиры и имущества. Прожили двадцать лет, а оглянись и вспомнить нечего, кроме тряпок и нужных людей...

Геннадий Мурашов еще раз прислушался к осенней мороси, оторвался от стены и затрусил вдоль подъездов, стараясь не выходить на освещенные места. Матюгнулся, когда в темноте наступил в лужу. Ладно, не зачерпнул. Постоял на углу дома. Прислушался. Издалека донесся шум машины, а на проспекте заверещали сирены, но вскоре стихли. Видать, для острастки включили. Мол, мы стоим на посту. Геннадий затрусил в тени домов, не обращая на лужу.

Он добрался до больничного городка. По тротуару, который был в тени, зашагал в сторону улицы Нефтяников (в округе никакой нефти, а улицу назвали), затем свернул возле Дворца культуры (какая уж культура в наше время, когда быстрее услышишь матерные слова в свой адрес, чем ласковые, а еще могли по роже врезать...). Свернул на Гагарина и зашлепал в сторону городской окраины...

«Занесло, где Макар телят не пас!» – матюгнулся Геннадий Мурашов. Они разменивали квартиру, кстати, которую он получал на предприятии, как и гараж. Квартира была шикарная. Улучшенная планировка, две лоджии, престижный район, да еще новенькая – такой проект впервые строился в городе. И ему дали квартиру в этом доме. Как в лотерею выиграл, радовался он. Уже тогда за нее предлагали бешеные деньги. А сейчас цена на нее взлетела до небес. И эту квартиру пришлось разменивать. Как Валька сказала, мы вместе жили, значит, – это нажитое имущество, а будешь сопротивляться, я найду способы, как вообще оставить тебя нищим. И предложила ему перебраться на окраину города в обычную хрущевку, которую приобрела якобы для него с видом на водоем и лесной массив, а потом оказалось, купила квартиру за копейки у какого-то алкаша, в которой ни разу не делался ремонт, и Геннадия спровадила.

– Эй, мужик, ну-ка, стоять! – послышалось из темноты, когда Геннадий уже дошел до дома и радовался, что благополучно добрался, а тут аж сердце провалилось в штаны или еще пониже. – Слышь, чё, не понял, чё говорят? Тормози, пока тормозилки не сломали!

И навстречу ему от стены отделилась фигура в спортивном костюме и заматюкалась, когда нога в кроссовке попала в лужу. Приостановился. Дрыгнул ногой, как собаки стряхивают, опять ругнулся и, набычась, направился к нему.

У Геннадия ноги ослабли, когда увидел бандитского качка, как называли всех, кто коротко стригся и носил спортивные костюмы. «Все, сейчас будут метелить», – промелькнуло в голове.

– Слышь, чё здесь ходишь? – зачёкал качок, а за ним мелькнул еще один. – Чё те надо? Ты к кому пришел в наш район? Ты кого знаешь? Кто за тебя может слово замолвить?

«Вдвоем отметелят, что мало не покажется», – промелькнуло в голове.

– Я живу тут, – неожиданно фальцетом сказал Геннадий. – В последнем подъезде.

– Правда, свой мужик, – осветил зажигалкой и разочарованно сказал качок. – А чё шляешься по ночам? Наверное, к телкам ходил. Слышь, у вас, старперов, столетние телки? И скока за час башляете? Прикольно с бабками-то?

И захохотал во весь двор, и было ему наплевать, что ночь на дворе и люди отдыхают.

Геннадий несмело улыбнулся.

– Слышь, Кузя, ну и чё, что свой, – от стены отклеился второй. – Давай ему тырды ввалим для этой самой... как его... А, вспомнил... Для профилактики! Пару разочков пнем по ребрам, хоть согреемся. Холодрыга – жуть! Говорил же, надо было пива понабрать. Сейчас бы сосали его потихонечку, а ты – от пива будешь криво... И чё теперь? На трезвяк стоять – себя не уважать.

Он передернул плечами.

– Не тебе меня учить, чё я должен делать. У себя будешь правила устанавливать, – оттолкнул качок дружка. – А тут я решаю вопросы, кому и чё выписать – по роже настучать или ливер отбить. Слышь, мужик, дай закурить.

Геннадий мало курил, но всегда таскал с собой сигареты на всякий случай. Вот и сейчас такой случай представился. Он похлопал по карманам, вытащил помятую пачку «Примы» и протянул.

– На, закуривай, – обрадовался он, что попал на своего и его не станут «метелить». – Забирай.

– Ты чё, мужик? За кого меня держишь? Последнюю даже менты не забирают, – буркнул качок, вытащив помятую сигарету. – Держи. И вали отсюда, пока я добрый.

И уже не обращая внимания на Мурашова, опять скрылся в тени.

Геннадий обрадовался, что обошлось без мордобития, и, шлепая по лужам, заторопился в темный подъезд. На душе была радость, что не тронули, но в то же время стало обидно, что вот такая молодежь, вместо того чтобы получать знания в школе, заниматься спортом и уважать старших, многие выбрали другую дорогу и уверенно по ней идут, не думая о последствиях. Обидно, что раньше молодежь все же уважала взрослых, а сейчас ни во что не ставят. Мир опрокинулся и разделился надвое, у одних жизнь пошла наперекосяк, а у других в гору. Он поднялся на второй этаж, звякнул ключом, открывая дверь, и лишь после того, как оказался дома, он вздохнул – добрался. Мой дом – моя крепость!

– Сволочи, – рыкнул он. – Сволочи и гады! Всех вас нужно расстрелять. Вот прямо так ставить к стенке и стрелять, пока ни одного бандита не останется. Повывирались из щелей, тараканы проклятушие. Гадские сволочуги!

Он содрал мокрую куртку. Раскинул на вешалке, чтобы просушилась. Туда же забросил кепку. Скинул растоптанные ботинки. Ноги насквозь промокли. Пошевелил пальцами. Сунул ботинки на холодную батарею. Как бы успокаивал себя, что просохнут. Прошел в зал. На стул бросил свитер, штаны. Рядом носки на пол. Натянул трико и плюхнулся на продавленный диван. Правда, в гостях хорошо, а родной диван лучше!

Он сидел на диване. Свет не включал. Чуть сбоку горел фонарь за плачущим окном, по которому стекали струйки дождя, но этого было достаточно. Геннадий поднялся. Прошел на кухню. Поставил чайник. Ночь на дворе, а он собрался чай гонять. Замерз, словно цуцик, пока добрался. Вся одежда насквозь мокрая. Хоть чаем кишки прополоскать, чтобы согрелись. Правда, не с чем в последнее время. С работы уволили, а новую не найти. Приходилось случайными заработками перебиваться. Не разгуляешься.

Конечно, можно было за продуктами – картошка, соленья, а повезет, так и мяса кусочек, съездить в деревню, куда уж с десяток лет, а то и поболее носа не показывал. В деревне жил отец и больной брат, но из-за брата не хотелось появляться. С малых лет не заладились отношения с ним. Дурачок он – этим всё сказано. Геннадий школу закончил и смотался в город. Пока жил в деревне хочешь или нет, но приходилось присматривать за братишкой, который по пятам за ним ходил. Сопли и слюни ему вытирать, но особенно бесил его преданный собачий взгляд. Уставится и глаз не оторвет, а у самого слюна на подбородке. Пока маленький был, как-то незаметно было, текут и текут, как у всех малышей, но чем взрослее становился, тем заметнее стало. Постоянно приоткрытый рот, в уголке слюна собирается и ползет по подбородку. Фу, противно! Друзья смеялись над Генкой. Мол, если брат дурачок, значит и ты без мозгов. И все в таком духе. Ваш Ванька дурак, а ты – полудурок. И хохочут! Геннадий дрался с ними. А они все равно смеялись. Геннадий братишку избегал, лишь бы за ним не увязался на улицу, иначе покоя не будет от друзей. А тот, словно привязанный, куда Геннадий, туда и Ванька приходил. Улыбается ему, радуется старшему брату. А Геннадий злился на него. Лупил исподтишка и обижался, если родители узнавали об этом, и ему доставалось по первое число. Отец сразу хватался за ремень или вожжи и лупцевал до крови. А мать плакала, мол, Ванечка – это же твой родной братик. Он и так Богом обижен, а ты еще бьешь его. Ванечку жалеть нужно. Сам подумай, как он останется в жизни один, если нас не будет? Он же пропадет. И плакала. А Геннадий злился и убегал...

И уехал в город после восьмилетки. Радовался, что вырвался на свободу. И молчал в училище, если спрашивали про семью, всех называл, а про Ваньку, что больной, ни словечка не говорил. Деревни хватило, где дружки обзывали его полудурком из-за братишки. И поэтому отмалчивался, если о нем спрашивали.

Домой приходилось ездить, пока учился. Хоть на полном довольствии, как говорили в училище, а денежки никому не помешали. И катался в деревню. Правда, приходилось помогать. Приедет, а Ванька стоит рядом, улыбается и радуется, что он приехал, и гладит его по плечу, а сам что-то пытается рассказать, да не получается. А Геннадий отдергивался. Неприятно смотреть на приоткрытый рот и слюну, что собиралась в уголке, а потом медленно сползала по подбородку.

И своей будущей жене не рассказывал про Ваньку. И все было хорошо, пока с Валькой не приехал в деревню, чтобы познакомиться с родителями. Валентина руками и ногами замахала, когда увидела Ваньку. На дух не нужна такая родня. Ты хочешь, чтобы наши дети родились умственно отсталыми? Забудь, Геночка! Детей у нас не будет. И вообще, к твоей родне ездить не буду. И все, как отрезала!

Геннадий расстраивался, что у них не было детей. Все же наследники, но супруга была против. Не дай бог, чтобы такой же Ванька появился в семье. Сам же не захочешь воспитывать. У них гены плохие, если дурачок родился. А значит, и у них может появиться, как врачи объяснили. Не хочу, и все тут! Геннадий первые годы расстраивался, а потом привык. Может, и к лучшему, что детей не было.

Геннадий налил в бокал чай. Заварка старая. Так, чуточку подкрасила и все на этом. Сунулся было в сахарницу, но вспомнил, сахар закончился. И конфеток нет. Хотя есть одна, он нашарил в шкафу. Обертка прилипла, что не отдерешь. А сладкого хотелось. Он долго скрябал по конфетке, сдирая обертку. А потом психанул. И так сойдет. Отгрыз половинку и зачмокал, катая ее во рту. Вкусотища какая!

Конечно, можно было бы съездить в деревню, в которой уж давненько не был. Глядишь, продуктами бы разжился. Но был в обиде на отца. Матери уж давно не было. Прислали телеграмму, что она болеет и просит, чтобы он приехал. А Геннадий махнул рукой. Мать всю жизнь болела. То одно мозжит, то другое болит, то там свербит... И все лечилась травками да настояями. И сейчас Геннадий думал, похандрит старуха и опять будет бегать. А она возьми да помри.

Не поверил, когда телеграмму прочитал. Едва успел на похороны. Уж ко двору вынесли, когда он появился. Сунул пакеты с продуктами старухам, сам остался. С мужиками покурил. С отцом поговорил. Правда, отец молчал. Всё на мать смотрел да Ваньку прижимал к себе. А тот уж взрослый несмышлениш не понимал, что произошло. Здоровый мужик, а ум словно у ребенка. Улыбка глуповатая на широком, словно блин, лице, слюна на подбородке, а взгляд мутный и все старается его удержать на Геннадии. Обрадовался брату. А Геннадий делал вид, что не видит его. Потоптался возле гробика. Мать маленькая. Она и так была небольшой, а тут словно усохла. Личико с кулачок. Морщинки разгладились. Лишь возле глаз две виднеются. Того и гляди заплачет. Губы впавшие, нос восковый заострился. И платок по самые брови. Руки тонкие на груди и иконка в них. Казалось, плакать должен Геннадий. Головой биться и каяться, что забыл деревню и родителей – тоже. А он стоял, и было чувство, будто на чужие похороны попал, а не мать провожал в последний путь...

И после похорон, когда все сидели за столом и поминали, он выпил одну, затем другую рюмку, слушал, что говорили соседи, а за душу не брало, словно о чужом человеке шла речь. Он закурил головой. Взял стакан. Налил. Выпил. Потом поднялся и вышел на крыльцо. Долго стоял и курил. Выходили мужики. Здоровались с ним, а он многих не помнил. Отец появился на крыльце. Закурил. А сам нет-нет, украдкой вытрет глаза, словно соринка попала. И взгляд в землю. Потом ушел. Ни слова не сказал сыну. Геннадий пожал плечами. Он не знал, о чем говорить. Да и нужны ли будут его слова – соболезнующую, сочувствующую, ты держись...

Уже после поминок, когда все разошлись, они остались втроем в доме. Отец сидел возле кровати матери. Взглянет на нее, проведет рукой по подушке, словно погладит, и молчит. Ванька шмыгал носом. Посмотрит на Геннадия и улыбается, а у самого слюна на подбородке. Радует, брат приехал. Он всему радовался в жизни. В этой жизни, в которой был. И не понимал, почему люди плачут. И готов был жалеть всех и делиться своей радостью с каждым, да не всякий подпускал его...

Геннадий не мог объяснить, почему его не тронула смерть матери. Наверное, рано оторвался от семьи и редко бывал в последние годы. Честно сказать, желания не было. Ладно, помочь по хозяйству. Но мать постоянно напоминала ему, с кем останется Ванька, если с ними что-нибудь случится. И это раздражало...

Он не остался на девять дней. Сослался на занятость. Работы много. План неподъемный, а выполнять придется. И уехал. Уехал, даже не поговорив с отцом, который до утра просидел возле кровати. Даже не поддержал его. Да о чем говорить, просто не посидел рядышком и не сказал, мол, ты держись, отец, все наладится. А уж про Ваньку и говорить нечего. Даже не взглянул, когда захлопнул калитку, а Иван навалился на забор, махал рукой и долго смотрел ему вслед. И не дождался, когда брат оглянется...

Геннадий давно оторвался от деревни, хотя родители хотели, чтобы он после учебы вернулся в родной дом. Многие его дружки возвращались. Поживут два-три года, хлебнут эту яркую городскую жизнь с ее разноцветными витринами, барами и ресторанами, с почти доступными девчонками, как им казалось, все испробуют на вкус, а потом манатки в сумку и уезжают в родную деревню, которая находится за тридевять земель. Вернется и нарадоваться не может. А Геннадий не мог понять этого. Ну чему радоваться – непролазной грязи или горам навоза, который скопился и его нужно вывозить, а может, сенокосу, на котором пластаешься, ни днем ни ночью покоя нет, а потом его еще нужно в омет сложить, да не в один, зимы долгие, а животные пожрать горазды. Ну в чем радость-то? Геннадий не понимал, а может, просто хотелось легкой и сладкой жизни...

Геннадий не отказывался, когда из деревни привозили картошку и всякие овощи на зиму. В основном отец приезжал на колхозной машине. Разгрузят. Зайдут в дом, но батя старался не задерживаться, а Геннадий не удерживал. Редкий раз перекусят, чай попьют и батя заторопится в обратную дорогу. Там же мать одна осталась и Ванечка. За ним присмотр нужен. И уезжал...

А бывало, Геннадий сам договаривался с машиной и по осени ездил за картошкой. А морозы ударили, уже привозил гусей да уток, курей да половину свинки. Зима долгая, всё уйдет. И тоже никогда не задерживался. Занят. Это только кажется, что в городе жизнь легкая, а на деле наоборот. С утра и до ночи приходится пахать, как пчелке, чтобы нормально жилось. И подавался к выходу, но говорил, звоните, если что, я приеду...

Геннадий мотнул головой. Взглянул на темное окно. Прислушался. На улице моросит. Осенние дожди долгие. Как зарядят и не остановятся. Отопление еще не скоро дадут. Он пере-дернул плечами. Зябко! Отхлебнул из бокала. Чай остыл, а разогреть не хотелось. Что-то деревня вспомнилась. К чему бы это, а? Он нахмурился. После похорон матери, всего лишь один раз съездил и все на этом. Времени не было, да и желания – тоже. Отец молчком будет сидеть, а Ванька – этот убогий, глаз с него не сведет и будет лыбиться, а на подбородке слюна. Тьфу, аж чай расхотелось пить!

Геннадий чертыхнулся. Потом напрягся и сделал стойку, когда за окном раздался истош-ный крик. Наверное, он не один, кто прилип к окну, пытаясь в осенней ночной тьме рассмот-реть, что происходит. Краина города – это особый район, где по одну сторону дороги стоят жилые дома, а по другую тянутся старые выработки, больше смахивающие на болота, где летом вовсю квакают лягушки, не давая уснуть, а зимой покрываются льдом, но шагни и прова-лишься. Опасное место! А за выработками тянулся густой лес, где легко можно заблудиться. И тонули на выработках, и терялись в лесу...

Да уж, город – это не деревня. В деревне, наверное, до сих пор в социализме живут и в ус не дуют. Плевали они на перестройку, на эти бизнесы и стрелки. У них своя жизнь. А Ваньке вообще наплевать, что вокруг него происходит. У него свой мир. И взгляд на этот мир тоже свой. Наверное, для него всё в розовом цвете, если с малых лет ходит и всем улыбается, а Геннадия увидит, ни на шаг не отстанет, словно хвостик за ним будет таскаться...

Геннадий чертыхнулся. Опять деревня и снова Ванька перед ним. К чему бы это, а? Он закрутил головой. Зевнул. Потянулся. И завалился спать. Что караулить возле окна, если и так было понятно, что делается на улице. Телевизор включишь – то же самое. Криминальные раз-борки, воровство, грабеж и прочие похожие дела, будто вся страна разделилась на два лагеря – одни грабят и убивают, других грабят и убивают. А где же оно – светлое будущее?

Геннадий закрутился на продавленном диване.

– Уйди от меня, – забормотал он и отмахнулся. – Ванька, отстань, говорю! Что пристал как банный лист? Пшел отсюда!

Дрыгнул ногой и проснулся от грохота табуретки, по которой попал ногой. Чертыхнулся, с недоумением осматривая комнату, а в глазах все еще был братишка, который обнимал его, в глазах радость, что брат приехал, а слюни текли по подбородку. И Геннадий невольно дернул плечом, словно хотел скинуть его руку. И непроизвольно смахнул. Плечо сухое, а чувство, будто Ванька рядом с ним стоит.

Чертыхнулся. Но в то же время закрутились мысли, что делает батя. После смерти матери они почти не общались. Геннадий перестал ездить в деревню. Однажды по осени передал через знакомого, чтобы картошку привезли и мясо, если есть, но отец промолчал. Геннадий снова напомнил, и опять молчок. И он обиделся. Психанул, что все внимание Ваньке, а ему ничего, хотя батя наверняка знает, как сейчас тяжело живется в городе. Наверное, решил, смотался от нас, значит, сам пробивайся в жизни...

Когда Геннадий переехал на окраину, несколько дней бродил по пустой квартире, где на кухне стоял стол и старенький холодильник, в зале продавленный диван и маленький теле-визор, а в спальне еще один диван и два стула на всю квартиру. Сравнил, что у них было, а что досталось ему. И впервые пожалел, что перебрался в город. Родители не раз говорили, что горечью полынной аукнется городская жизнь, а он смеялся. Разве сладкая жизнь может пре-вратиться в горькую? Оказалось, может...

Отцу не стал жаловаться, что разошелся с женой. И что говорить, если перестал ездить в деревню. Может, знакомые передавали отцу, что они разбежались, – Геннадий не знал, потому что сам не ездил, а новый адрес забыл сообщить отцу. Может, приезжал к нему, но там новые жильцы, которые не знали его адреса, а сноху не станет искать. Батя сразу говорил, что не нужно жениться. Не создана девка для семейной жизни. А Геннадий уперся. Люблю и все тут! Аукнется любовь-то, буркнул отец. Как в воду смотрел. На пятый десяток перевалило, а у него ни семьи, ни детей, ничего. Эх, жизнь, горечь полынная!..

Геннадий поднялся. Взглянул на окно. На улице моросил дождь. Было слышно, как стучит по железке. Вдохнул. Поежился. Не любил осень. Зябко. Зашел на кухню. Громыкнул чайником. Заглянул в холодильник, хотя знал, там мышь повесилась. В ведре под раковиной немного картошки. На полу пара банок с огурцами – это соседка Нинка угостила. Хорошая баба. Через стенку живет. Она иной раз забегала в гости, когда ее благоверный уезжал в рейс. Дальнотойщик. Чем дальше умотает, тем больше заработок. Вот и катается по стране, редкий раз появляясь домой. И ему хорошо, никто плешь не проедает. Вроде женат, а в то же время жену видит реже, чем проституток на обочине дороги. И Нинке хорошо. И муж есть, и к соседу можно заглянуть на огонек, чтобы на его тощей груди поплакаться, как ей плохо и одиноко живется в наше суровое время, а если бы нашелся такой человек, кто согрел бы ее душу и тело, она бы вся отдалась без остатка и показала бы, на что способна. Вот уж Геннадию повезло с соседкой! Разве настоящий мужик может отказать, когда женщина хочет? Да ни в жисть!

В шкафчике две упаковки с рожками и одна с горохом. Немного осталось риса. Заварка в мешочке. Это он ходил на оптовую базу, что была неподалеку. Хотел на работу устроиться, да места не было. Зато повстречал знакомого. На заводе работали вместе. У них цех первым попал под сокращение. Вот и попал с должности мастера в грузчики. И этому был рад до без ума. И сейчас столкнулись, долго вспоминали прошлую жизнь – почти сказочную, как казалось, а под конец разговора, когда знакомого позвали фуру разгружать, он втихаря вынес полный пакет с развесным чаем – гостинчик. И сказал, чтобы заглядывал почаще. Может, еще что-нибудь обломится. И заторопился, на ходу надевая рукавицы.

Да, раньше бы этот чай даже не стал заваривать, даже нюхать не стал, а сейчас идет за высший сорт. Вскипятит чайник. Нальет в кружку, щепотку заварки туда и не больше и сидит, смотрит, как чайники опускаются на дно и вода начинает окрашиваться в светло-коричневый цвет. И запах, от которого раньше бы стошнило, а сейчас словно индийский со слонем заварил. Эх, жизнь, горечь полынная, когда же ты повернешься ко мне светлой стороной?..

А в деревне мать любила чай со слонем. И опять чертыхнулся. Невольно вспоминается деревня, родители, а вместе с ними Ванька. Любые мысли приводят к нему. О чем бы ни подумал, смотришь, снова Ванька перед глазами... Мать где-то доставала чай со слонем. Нарвет листья смородины, вишни, немного мяты и чуточку заварки. И такой запах, аж голова кругом идет. Пьешь, и напиться не можешь. А Ванька смотрит на тебя и улыбается – радуется старшему брату и все норовит погладить по плечу, а у самого слюна по подбородку. Тьфу, ты! Геннадий чертыхнулся. Не захочешь, а начнешь ругаться, вспоминая братишку. Вроде понимал, что больной он, что нужно жалеть и помогать, но себя пересилить не получалось...

Он отхлебывал жиденький чай, посматривая в окно. Унылый осенний вид на заросшую выработку, покрытую островками и водной растительностью. Геннадий, наверное, правильно сделал, что отцу не рассказал о разводе с Валькой и что переехал в другой район. Батя не хотел, чтобы сын женился на ней. Махнул рукой. Тебе мучиться, сынок. Это твоя жизнь, а какой она будет – неизвестно, но хорошей – это вряд ли...

Правда твоя, батя. Как в воду смотрел. Ремнем нужно было лупцевать, на цепь сажать, да поздно было. Геннадий уже в то время жил своим умом. Вот и нажил головную боль. Почти полжизни прожил, можно сказать, на пятый десяток перевалило, а за душой ничего. Вот так счастье нашел – врагу не пожелаешь. Эх, жизнь!..

Ну а послушал бы отца с матерью, и что? Ну, женился бы на какой-нибудь другой девке или деревенскую взял, как многие делали. И что тогда? Неужто жил бы лучше? Ага, как же! Еще неизвестно, какой бы эта жена оказалась. Может, еще хуже, чем Валька. Валька лаской взяла, когда гуляли. По киношкам бегали, по кафешкам. Проводит, а она с бабкой жила. Поят в подъезде, пообнимаются. Она чмокнет его, выскользнет и убежит. Растравит, хоть на стену лезь. А потом к себе позвала. Бабка к подружкам уехала. И остался с ночевкой. А утром, как честный человек, он просто обязан был жениться на ней. Но уже тогда Валька заявила, что ни дня не будет жить с его родителями. Что нужна своя квартира, потому что она будет заниматься шитьем, а для этого нужно... и долго перечисляла, что требовалось. Все сделал для нее, а в итоге оказался у разбитого корыта. А что было бы, женись на другой. Может, еще хлеще попалась. Так бы в оборот взяла, что не пикнул бы, без штанов бы оставила. А на деревенской жениться и там жить, чтобы грязь месить и в навозе копаться? А тут еще Ванька под боком, который каждый день к ним приходил. Ему ничто не докажешь – дурачок. И неизвестно, как бы жена его приняла. Валька же сразу заявила, чтобы глаза ее не видели Ваньку. И другая бы тоже так сделала, а родители ему бы плешь проедали. И получается, что попал бы промеж двух огней. Да на хрена мне это нужно! И Геннадий с психу толкнул кружку с чаем...

Геннадий считал, что ничем не обязан братишке. Да, вроде понимает, что Ванька не виноват, что родился больным. Ведь у других тоже есть такие же дети и родители находят способ или выход, как с ними поступить, а его родичи наотрез отказывались, чтобы Ваньку отдать в интернат, когда им предлагали, а Геннадия вообще ремнем отлупил отец, когда он заикнулся об этом. Пока молодым был, обижался на родителей. А когда стал взрослым, эта обида переросла в неприязнь и равнодушие, что ли...

Геннадий ездил в деревню. Общался с матерью или с отцом, а Ваньку старался не замечать, что тот радуется его приезду и старается прислониться к нему или дотронуться, но Геннадий исподтишка отворачивался, словно его не видел. Не замечал его блуждающий взгляд, слюну на подбородке и постоянную словно приклеенную радостную улыбку, будто он радовался всему на свете, и своим обидчикам – тоже. Он сидел, куда-то постоянно смотрел поверх голов и улыбался, словно что-то видел за спинами людей, чего не мог заметить обычный человек. У Ваньки был свой мир, который для других был недоступен...

И снова Ванька перед глазами, когда ребяташки прибежали к ним и звали его на улицу. Не Генку звали, а убогого, хотя Ванька уже в то время был куда старше деревенских ребят. А они играли с ним и бегали по полю, гоня мяч, а Ванька торопился за ними, пинал мяч и промахивался, а ему кричали: «Эх, мазила!». И он смеялся. Булькающе, захлебываясь, смеялся над этим, а вместе с ним хохотали ребяташки, и Ванька снова пытался пнуть мячик. А дома всякий раз прислушивался, когда за окном раздавались голоса детей. И тут же начинал улыбаться и что-то лопотал непонятное, тыкал пальцем в окно, по подбородку слюна, а в глазах была радость...

За окном рассвело. Бабье лето, а не видно. Небо в обложных облаках. Сеет и сеет морось. Редкий раз проглянет солнце, но тут же прячется. И опять застучало по стеклу. Погода плачет, что-то всплыло в голове. А кто сказал – не помнил. Правда, плачет. Струйки стекают по мутному нечищеному стеклу, словно слюна по Ванькиному подбородку. Тьфу ты, чертыхнулся Геннадий. Сразу настроение испортилось. Он зябко передернул плечами. Какое уж тут бабье лето, повсюду грязь непролазная и ночи чернее черного... Он невольно посмотрел в окно, вспоминая, как ночью добирался до дома. Нормальные люди по ночам не гуляют. Это время для всяких там жуликов и бандитов. Повезло, что на знакомого нарвался возле дома, а то бы могли не только отлупить, но и все забрать у него. Хотя и забирать нечего, но чувствуешь себя мерзопакостно, когда чужие руки начинают неторопливо, по-хозяйски шарить в твоих карманах, как в своих собственных. Раньше жены искали закладки, а теперь всякие отморожки шарятся. Мерзко стало на душе, словно в рожу плюнули. Эх, жизнь-жизня, глаза бы не смотрели!..

Геннадий наскоро собрался. Морось за окном. Куртку взял, а она еще не просохла после ночи. Старую сдернул. И такая пойдет. Ноги ткнул в стоптанные туфли. Сейчас решил пройтись по магазинам, поспрошать какую-нибудь работу.

Геннадий спустился по лестнице. Постоял возле оторванной двери. Выработку затянуло пеленой тумана и мелкого дождя. Казалось, сейчас со стороны туманных выработок донесется долгий страшный вой собаки, и словно к Конан Дойлю попадешь про собаку Баскервиллей. Геннадий невольно передернул плечами. Нужно было идти. Уж сколько времени ищет работу, и не получается. Городок с ладошку и найти работу сложно. Уволился, а теперь пожалел. Сколько времени ищет новую работу, и бесполезно. А вернуться в деревню не позволяла гордость, что ли, и желания не было, честно сказать...

И сейчас стоял в подъезде и не знал, куда направиться. В который уж раз обошел город вдоль и поперек, надеясь устроиться на работу. Но работы не было. Никакой. Правда, толпы за забором стоят и каждый пытается доказать, что он умнее остальных, а что касается работы – это он на все руки мастер. Ну и что, что работал грузчиком? Я могу слесарить или сварщику баллоны таскать, а еще знаю разные языки. Когда работал грузчиком, все надписи на ящиках и контейнерах прочитал. Даже без словаря знал, где и что находится. О, какой я умный! Вы знаете, сколько я всякого груза перетаскал за свою жизнь грузчика? О, вы не поверите! Меня работой не напугать. Я могу и мастером быть. Нет, начальником не потяну. Там много писанины, а я пишу с ошибками, зато читаю на всех языках... Но вы не подходите нам. И выпроваживали. А следом следующий начинал соловьем заливаться, что без него предприятие точно остановится, если не возьмете на работу. Кем? Хоть кем, я на любую работу согласен и даже по выходным. Оставьте свои координаты. Мы сообщим, если нам подойдете. И следом уже опять следующий в окошечко заглядывает. А вы знаете, как я умею? И так изо дня в день, неделями, месяцами и уже годами...

Геннадий долго бродил по городу. Заходил в магазины. Грелся. Заодно спрашивал, есть ли какая-нибудь работа? Ну, хоть копеечная. Можно и бартером. Но бесполезно. И Геннадий шагал дальше...

Геннадий чертыхнулся. Опять про Ваньку вспомнил. Ему рассказывали, когда матери не стало, Ванька к отцу привязался. Словно хвостик за ним повсюду ходил. Куда батя, туда и он. Чуть ли не в уборную провожал. Ругай не ругай – бесполезно. Смотрит и улыбается и старается коснуться тебя или прижаться, а у самого слюни текут. Тьфу ты, не удержался Геннадий. Здесь и так тошно, а тут еще Ванька в бошку лезет. Тьфу ты!

– Геша, что плюешься? – возле него раздался голос. – Идет, глаза в землю и никого не замечает. Здоров был, босота!

Весь в фирме перед ним стоял мужик, темные очки на лбу, короткая стрижка, на пальцах два золотых болта, на бычьей шее почти такая же золотая цепь, а в руке барсетка, которую старательно прижимал к себе.

– О, какие люди и с охраной. – Геннадий увидел старого знакомого, с кем когда-то работал на заводе, а потом тот в бизнес подался. Процветает. Джип стоит, а подле него два амбала в темных очках наблюдают за ними, того и гляди за пушки схватятся. – Здорово, Петруха! А ты какими судьбами да еще в этих краях? Здесь, кроме нищеты, никто не живет. Вижу, крутая машина да еще два мордворота стоят. Того и гляди кинутся. А ночью они возле кровати вас с женой охраняют, пока вы шуры-муры, или все же за дверью стоят?

Он кивнул на них и засмеялся.

– Кинутся, если «Фас!» скажу. Они послушные. Любого порвут. И еще, Гендос... Я уже давно не Петруха, – нахмурился знакомый. – Это ты, как был Гешей по жизни, им же и останешься, а меня кличут Петром Василичем. Чуешь разницу, босота? Что бродишь? Ищешь, что своровать? Не беспокойся, все, что можно было и нельзя, уже без тебя сперли.

– Гляди, как высоко поднялся, – мотнул головой Геннадий. – Туалетной бумагой торговал и разбавленным стиральным порошком, а сейчас взлетел до небес. Умеют же некоторые... – Он завздохал. – А я работу ищу. С заводы выперли и не посмотрели на мои заслуги. Сам знаешь, сколько для них сделал. Ничего не помогло. В один день выкинули и тут же забыли. Обидно, Петрух... Петр Василич. С той поры случайными заработками с копейки на копейку перебиваюсь.

– А что в бизнес не пошел? – вздернул брови знакомый – а рожа сытая и холеная. – Сейчас столько возможности, только лентяй в бизнес не идет. Слышал, твоя жена неплохо делами заправляет. Одни попытались сломать ее и не получилось. Крутой характер у нее! Ей бы мужиком родиться, вообще бы город под себя подмяла. И ты бы занялся делами, а она бы помогла подняться. Сам знаешь, я тоже на пустом месте начинал, а сейчас целая сеть магазинов подо мной, да ткацкую фабрику по дешевке прикупил. Почти задарма взял. За одним челом должок числился. Вот в счет долга отдал. И ты бы попытался...

– Не по мне этот бизнес, – завздохал Геннадий. – Пробовал. Мешочки политиленовые продали. Две машины. Тазики и детские горшки загнали. Белизну толкнули. Но все это копейки, как ты знаешь. А тут один предложил целый состав топлива продать. Даже показал его на путях. Говорит, копеечку накрутим, а в конце такие миллионы получатся, что будем лежать на личных островах, а местные аборигенки будут нам кокосы с пальм доставать, а по вечерам на берегу океана пляски устраивать. Ну и сунулся... Так залез, чуть голышом не остался и даже без головы. Таковую неустойку повесили, хоть в петлю головой. Ладно, жена помогла. На всякий случай переписал квартиру на нее, чтобы другим не досталась. Отстали от меня. Кстати, я с женой разошелся. У нее свои дела, а я не пришей кобыле хвост. Как жена сказала, балласт в жизни. Наверное, правда. Кстати, у тебя, Петр Василич, есть работа? Я на любую согласен. Могу сторожем пойти в твой магазин. Жрать нечего. За квартиру не плачу. Скоро жена выкинет меня. Есть, Петр Василич?

Он взглянул на знакомого и замолчал.

– Разбежались... А Валька ничего с виду и деловая, – так, словно не слыша, сказал знакомый. – Расцвела, как в бизнес ушла. Прямо вся такая из себя, аж мужики оглядываются. Заеду к ней. Есть одно дельце. Не знаю, куда фабрику приспособить, какую задарма забрал. Может, сговоримся. Что говоришь? Работа нужна? Ну, брателло, в наше время работа – это роскошь. Сейчас люди бухают по-черному. Все пьют, а ты бутылки за ними собирай. За день можно вагон и маленькую тележку собрать. Говорят, один миллионером стал. Глядишь, и ты будешь. Ладно, мне пора. Забегай, если что... – Он зашагал к машине, потом оглянулся: – Считай, повезло тебе с составом горючего. А мог бы без башки остаться. Бизнес не для тебя – это точно. Бутылки собирай, как другие делают. На вот, помогу по старой дружбе...

Он покопался в карманах, вытащил из кожаного кошелька тугую пачку долларов, покрутил ее и обратно сунул, зато достал несколько мелких российских купюр и немного мелочи. Сунул в руку Геннадию и уже не оглядываясь уселся в машину, охрана возле него, и они умчались...

Геннадий с недоумением посмотрел на ладонь, где лежало немного денег, мотнул головой – как он мог подумать такое, я же не нищий. Размахнулся и хотел было бросить вслед знакомому деньги, но так и застыл с поднятой рукой, покрутил головой, никто не заметил, как ему сунули деньги, словно нищему на паперти, и спрятал в карман.

– Словно в морду плюнул, – буркнул Геннадий. – Опустился ниже некуда. Ладно, утрись...

Потоптался, думая, куда направиться, и пошел в сторону хлебного магазина.

Мимо промчались пацаны. Один приостановился, с земли поднял окуроч, осмотрел, прикурил, несколько быстрых затяжек и бросил. Закашлялся. Поддернул помятые штаны и зашле-

пал вслед за дружками, которые столпились возле торговых палаток посреди площади и что-то рассматривали, а потом кинулись врассыпную.

– Сволочи, отдайте! – вслед за ними кинулся продавец, но в этот момент еще двое подскочили к товару, что-то схватили и помчались прочь. – Ах вы гаденыши! Да чтобы вы сдохли, сволочуги! Да чтобы у вас...

Геннадий купил булку хлеба. Прошелся по магазину. Притормозил возле колбасного отдела. Всякая колбаса! Раньше о такой не слышали, а сейчас бери – не хочу. Так и манит, чтобы ее купили, но будь при деньгах, Геннадий бы еще подумал, брать или нет. Нынешняя самая лучшая колбаса куда хуже советской самой дешевой. Зато сейчас много всего. Полки ломятся, и глаза разбегаются от ярких этикеток. И на лоб вылезают при виде ценников...

– Растуды твою в качель, – ругнулся Геннадий, подошел к выходу и остановился, зябко поводя плечами. Опять морось полетела. Вот тебе и бабье лето. Глядя на мерзкую слякотную погоду, скажешь, что это недержание столетней старухи, а не краса бабьего лета.

Он поднял воротник. Хлеб в пакет. Руки в карманы куртки. Кепка на глаза и взгляд в землю. Пошлепал домой. Геннадий задрал голову. Кар-р! Над ним кружились вороны. И шлепок на лицо. Геннадий махнул ладонью и не удержался. Заматерился на всю улицу.

– Господи, даже здесь ты наказал меня! – рявкнул он. – Ну что я сделал плохого, если даже вороны обосрали меня?

Боженька молчал. Зато вороны продолжали кружиться над головой. И прохожие, услышав, как ругался Геннадий, заметив, он вытирал лицо, опасливо заторопились мимо, посматривая вверх, как бы тоже не получить вороный подарок...

– Генка, здоров был! – от ларька с пивом отделился худой испитый мужик в потрепанных штанах и пиджачке, несмотря на холодную морось. – Слышь, друг, не в службу, а дружбу, займи на пару кружек. Шланги горят, спасу нет. Сдохну ведь...

И словно преданная собачонка посмотрел на него.

– Ты с дуба рухнул, сосед? – не останавливаясь, сказал Геннадий. – Ты еще с советских времен должен мне и до сих пор отдаешь. Нет у меня. Отвали!

– Ну дай, Геша, – заканючил мужик. – Когда я сидел в кабинете, всем давал и тебе – тоже, а выгнали и никому не нужен. Сволочи!

Геннадий прошел мимо него. И правда, сидел в кабинете, подписывал бумаги, а потом попался на воровстве. На копейку спер, но выгнали сразу. И даже уголовное дело завели. Жена тут же разошлась с ним, квартиру оттяпала – не пропадать же добру, если конфискуют. И умотала из города, а ему задрипанную однушку на окраине оставила. Пусть отбирают – не жалко. И растворилась на бескрайних просторах нашей родины. А соседа таскали-таскали, припаяли условный срок и отпустили. Обрадовался сосед, что не посадили. Загулял от радости. И до сих пор остановиться не может...

Опять мысли о деревне. Геннадий завздыхал. Если бы в деревню ездил, все равно было бы полегче, тем более сейчас. Мешок картошки всегда бы привез. Соленья-варенье, овощи, а под зиму кусок мяса и сало шмат, а что ему еще нужно – ничего, но гордость, сволочь такая, покоя не давала. И обида осталась, что Ванька при матери был на первом месте, а теперь вообще стал главным. Но ведь он тоже сын и брат! Он тоже родная кровь. Но про него забыли или думали, что он и сам может всего добиться в жизни. И Геннадию было обидно. Многого не прошу, а всего лишь капельку родительского внимания, но его не было. Уж сколько лет прошло с той поры, как перестал ездить, а все равно было неприятно...

Он помнил, когда в городе уже всю стали перестраивать, он в это время ездил в деревню. С неохотой ехал, через не хочу, и глаза бы не смотрели на деревенскую жизнь, представляя, что сейчас там творится с новыми веяниями. Наверное, потомки кулаков головы подняли, откопали припрятанные обрезы и принялись отбирать у народа отобранное кулацкое добро. Ведь должны были вернуться к старому. У кого что было, то и можно вернуть и распо-

ряжаться этим, потому что ты прямой наследник и хозяин всего, что было у твоих предков. А Геннадий приехал в деревню и глазам не поверил. Как жили, так и живут, словно эта новая жизнь мимо них проскочила и забыла заглянуть в деревню. На работу ходят, хлеб сеют и убирают, сено заготавливают и все делают, чем обычно занимались. И ни одного крикуна на трибуне, ни одного потомка бывших кулаков или подобных им. Мир разделился на две половины. В одной стремятся к непонятной свободе и яркой жизни, а другая живет по-старому.

– Батя, а что вы не перестраиваетесь? – сказал Геннадий, когда они после бани уселись отдышаться на крылечке. – Ты же говорил, будто нашего деда в ссылку угнали, что землями владел – мама не горюй, и мельница была, и рыбозавод, и маслобойка, и еще много всякого добра... Ты же богатеи! Что не пользуешься своим добром?

– Бренчать языками все горазды. По телевизору с утра и до вечера одна молотьба языками идет и никакого толку. Стоят и рассуждают, в какую сторону нужно двигаться, а самих не заставишь работать, – буркнул отец. – А на земле-матушке нужно работать от зари и до зари. Богат тот, кто душу в землю вкладывает, а не тот, кто горазд языками бренчать. А мы разучились ценить землю. И в деревне болтунов хватает, которые готовы хоть сегодня нарезать землю, а что с ней будут делать и сами не знают. Главное – хапнуть, а там трава не расти. Эх, люди-людишки!..

Он махнул рукой и замолчал.

И Геннадий молчал. Может, батя и прав, что люди перестали ценить землю. И за примером далеко не нужно ходить. Он же сбежал из деревни, потому что не хотел ковыряться в земле, а захотелось яркой и сладкой жизни. Да, что ни говори, а жизнь была яркой. И свобода была. А сейчас остался у разбитого корыта и что делать – не знал. Эх, жизнь – горечь полынная!..

Мимо промчалась машина. Окатила его из лужи. Специально прижалась к тротуару и газанула. Дыхание перехватило, словно под холодный душ попал. И матюги на всю улицу и кулаком помахал, когда машина скрылась за поворотом.

– Вот и меня так, когда в магазин отправился, – проскрипел старичок и заторопился, пытаясь пристроиться рядышком с ним. – Никакой совести не осталось. Раньше попробуй старикам слово сказать, можно было по шее получить, а сейчас старичье стало лишним. Меня окатили водой и ржут, сволочи. А ведь у каждого есть родители. А если их окатят? Об этом не думают. Эх, скотские времена – горечь полынная...

Сказал и отстал, что-то продолжая ворчать под нос.

А что Геннадию ответить? Каждый на себе испытал эту жизнь, да не каждому по вкусу пришлось. И обратно не вернешь. Поздно.

Геннадий добрался до дома. Во дворе никого не видно. Над старой выработкой кружат вороны. Всполошились. Разорались. Видать, что-то напугало птиц. И они умчались.

Геннадий зашел в подъезд. Остановился. Постоял возле сломанной двери. Прислушался. Откуда-то доносились голоса. У кого-то был включен телевизор. Пахнуло жареной картошкой. У него заурчало в животе. Громко сглотнул. Хотелось есть. С утра маковой росинки не было, если не считать, что по дороге исподтишка, чтобы не заметили прохожие, он отщипывал кусочки от горбушки и потихонечку жевал. Вот и вся еда за весь день. И опять громко уркнуло от запаха картошки.

Геннадий затопал по ступеням. Матюгнулся, вытряхнув из почтового ящика всякие газетенки, как лечить, что лечить, как после уринотерапии начинается вторая молодость, а уж после курса приема собственного кала вообще можно стать бессмертным. Гадалки, целители, ясновидящие, экстрасенсы помогут избавиться от всех болезней, а от денег – это в первую очередь. Он чертыхнулся. Бросил газетенки на подоконник. Зашел в квартиру и громыхнул дверью. Содрал влажную куртку. Набросил на дверь. Пусть сохнет. Кепку на вешалку. Мокрые ботинки скинул и зябко повел плечами. Прошлепал в зал и плюхнулся на диван. Устал...

Не успел отдышаться, заторопился на кухню. Вспомнил запах картошки, и кишка кишке принялась протоколы сочинять. Сунулся в ведро. Есть картошка, но мало. А масла нет. Никакого. Завздохал. А жрать-то хочется. Несколько небольших картошек помыл. Чистить не стал. В мундирах решил сварганить. Экономнее. Тем более есть огурцы, какие соседка приносила. Сейчас сварится картошка. На половинки ее, да с огурчиком, а еще лук четвертинками и с солью – у, какая вкуснятина!

И заторопился. Все приготовил. Картошку не стал доваривать. И с сыринкой пойдет. Так даже вкуснее и полезнее. Уселся за стол. Причмокнул, оглядывая его. В бокале чай горячий. В тарелке картошка нарезанная, рядом кругляши огурцов. Запах лука свербит нос. Ломти хлеба. И полная солонка соли. У, шикарно! И принялся хватать все подряд и есть, есть и есть...

Уже после ужина, прихватив бокал с чаем, он включил телевизор и уселся на диван, слушая новости. И не допил чай, когда в дверь торопливо застучали.

– Кого принесла нелегкая? – буркнул он, хотя по стуку узнал соседку Нинку, но сегодня у него никакого желания не было утешать ее на своей тощей груди. – Почти ночь на дворе, а она приперлась.

Он буркнул. Поставил бокал на стол и зашлепал к двери.

– Что ломишься? – хмуро сказал он, увидев перед собой низенькую полноватую рыжую соседку в ярком цветастом халате. – Я уж спасть собрался. Устал нынче. Никакой силы не осталось. Хоть самого, а тут ты примчалась...

И нарочито протяжно зевнул.

– Где шлялся весь день? – не обращая внимания на его будто бы сонное лицо, сказала соседка, оттолкнула его, прошла в зал и остановилась, уперев руки в бока. – Я уж весь кулак отдолбила о твою дверь. Думала, или его сломаю, или дверь высажу. Нечем заняться, что по городу носишься?

И вздернула тонкие бровки.

– Тебя мужик кормит, а мне приходится самому зарабатывать. Что пришла, спрашиваю? – буркнул Геннадий и снова зевнул – разморило в тепле. – Работу искал, а ты – мотался. Весь город объездил, во всех конторах был, и нигде не берут. Своих некуда девать, как говорят. Может, правда, бутылки собирать, как один знакомый посоветовал? Говорит, даже миллионером можно стать. Врет, наверное...

– Да погодь с бутылками, – отмахнулась Нинка и достала из кармана сложенный листок. – Телеграмму принесли, а тебя Митькой звали. Ты, Ген, извини, но я прочитала ее. На, смотри...

Нинка сунула ему развернутую телеграмму.

«Отцом плохо. Срочно приезжай. Тетя Фая».

Геннадий нахмурился. Что с батей случилось, если велят срочно приехать? Заболел, что ли... Сколько лет ни слуху ни духу, а тут и адрес нашли, и телеграмму отбили. Если бы помер, так бы и написали, а то – плохо. И что это значит? Примчусь туда, а он жив-здоров, как уже бывало. Полежит, оклемается и снова занимается делами. А тебя сорвали с места. Правда, сейчас не с чего срывать. Работы нет, семьи нет, ничего – нет, а есть всего лишь головная боль.

– Что молчишь, Генка? – ткнула в бок соседка. – Ехать нужно, а ты застыл аки столб и ни словечка не проронил. Что там могло случиться, а?

И уставилась на него круглыми совиными глазами.

– Откуда я знаю? – пожал худыми плечами Геннадий. – Может, опять спина покоя не дает. Всю жизнь мучается с ней. Сорвал в молодости, с той поры болит. Не знаю, Нин... Нужны деньги на поездку, а где мне взять? Они бы тоже думали бошками, присылая такие телеграммы. Приезжай и все тут! Даже не знаю, как быть...

Он снова пожал плечами.

– А ты давно в деревне был? – не унималась Нинка. – Вроде постоянно дома. Я бы заметила. Особенно, когда мой благоверный в отъезде.

Повела плечиком и словно невзначай прижалась к Геннадию, а потом засмеялась.

– Как сказать, когда был... – задумался Геннадий и пожал плечами. – Даже не вспомню, Нин. Давно. Мать схоронили в восьмидесятых. Потом еще разок съездил, когда новая жизнь началась, и все на этом. С той поры глаз не казал. И с батей началась напряженка, а тут еще моя Валька на развод подала, когда занялась бизнесом. Квартиру разделили. Я переехал, а адрес забыл сказать. Откуда они взяли адрес?

Он замолчал. Нахмурился. Взгляд в землю и молчок.

– Через паспортный стол или адресное бюро, а может, какой-нибудь знакомый сказал, где живешь, – сказала Нинка. – Городок маленький. Все друг друга знают. Что будешь делать, Ген? Я бы поехала на твоём месте. И отца бы проведала, и посмотрела бы, как в деревне живется...

Соседка неопределенно покрутила в воздухе рукой.

Геннадий долго молчал. Думал. Деревню вспоминал и отца с младшим братом. Хотел было подсчитать, сколько лет не был в деревне, и не получилось. Забыл. Забыл точную дату, когда мать снесли на мазарки. Даже приблизительно получалось. А за этот срок много воды утекло. И что будет ждать его в деревне – он не знал...

– Знаешь, Нинка, я, наверное, поеду, – задумавшись, сказал Геннадий. – Поеду, если найду деньги.

Он закрутил головой, осматривая пустую квартиру, словно решал, что бы продать.

– А много нужно? – заторопилась Нинка. – У меня есть немного. Могу дать. Потом вернешь, если сможешь. И мазь для спины дам. Хорошая, импортная! Разок намажешь, словно заново родился. Отвезешь отцу. Ехать тебе нужно, Ген. А может, у своей бывшей спросишь? Как ее... Валька, что ли?.. Ты вернешься оттуда?

– Честно сказать, не знаю, что произошло там, – помолчав, сказал Геннадий. – Адрес оставлю. Ключи от квартиры есть у тебя. Хорошая ты, баба, Нинка! Жаль, мужик есть...

– Ты к бывшей сходи, – опять сказала соседка. – Глядишь, поможет...

Геннадий вскинулся. А правда, если у Вальки спросить? Все же была женой. И не один год вместе прожили. Ей все досталось, когда разбежались. Может, сейчас поможет, все же бизнесменша. Правда, что, нужно к ней сходить.

– Уже темно, – сказал Геннадий и взглянул на окно, за которым стужались вечерние сумерки. – А бежать почти до центра. Она живет там. Наверное, схожу. Больше ни у кого не найти.

– Правильно, Геночка, – закивала головой Нинка. – А вернешься, стукни мне. Я заначку принесу. Тебе нужнее.

И соседка ушла.

Геннадий заторопился. Нечего время терять. Пока туда доберется. Пока с бывшей поговорит. Хорошо, если даст деньги. А нет, хоть пешкой шагай. С отцом что-то случилось, а ехать не на что. Он поднялся с дивана и заторопился в прихожку...

Домой вернулся, когда на улице было темно. Всю дорогу радовался, что Валька не стала ругаться. Полезла в шкаф и положила перед ним тонкую пачечку крупных банкнот.

– Этого хватит на лечение или похороны, – сказала она и помахала документом. – Не забывай, квартира на мне. Живи, сколько проживешь. А сейчас уходи. Некогда мне.

И выставила его. Но Геннадий успел заметить в прихожей мужские ботинки. Новенькие и дорогие, видать. Наверное, новый мужик. И как-то равнодушно мелькнуло. Не задело его, что Валька завела себе мужика. А может, он и раньше был, только Геннадий не знал. Ничего не скажешь – это жизнь. Хотя она и бизнесменша, как говорится, в то же время она – женщина. Ведь и он же не безгрешен. Вон, по-соседски Нинка забегает и не один раз, пока ее мужик в рейсе. И другие бывали, и ничего. Ну и пусть живет. Геннадий махнул рукой. Главное, что дала деньги. Он радовался, но в то же время опасался, пока доберется до дома, его остановят мест-

ные пацаны. А они не станут расспрашивать, для чего деньги. Заберут и еще по шее настучат. И поэтому он торопился, непроизвольно оглядываясь на каждый шум или окрик...

Уже на следующий день, ранним утром Геннадий трясся в рейсовом автобусе с сумкой, где лежали гостинцы – пара банок импортного компота с экзотическими фруктами, кулек с конфетами, парочка пачек печенья, чудодейственная мазь для спины и сверток с пирожками – это Нинка успела приготовить ему в дорогу. Хорошая баба. Жаль, другому досталась. Эх, жизнь!..

В автобусе мало пассажиров. Может, посреди рабочей недели отправился в дорогу, а может, просто люди стали реже ездить. И сейчас на первых сиденьях расположились две старухи с корзинами и сумками. Из деревень одно везут, из города другое. Так и курсируют, пока здоровье позволяет. Уселись, клушки, обняли корзины, словно сопрут в закрытом автобусе, и громко рассказывают, как сторговались, что купили. И было видно, довольны. Ну и ладно. Всем нужно жить, а старухам тем более, ведь на пенсию не разбежишься. Рядом с ними поодиночке сидят две женщины. Одна дремлет. Укуталась в плащ, нос уткнула в воротник и дремлет. А другая как повернулась к окну и взгляд не оторвет. Может, соскучилась по здешним местам, а может, не хочет ни с кем общаться. Перед Геннадием мужик расположился. Запах перегара доносится. Снял фуражку. Лысина вполголовы. Как раз фуражкой закрывал, а сейчас скинул, лицо загорелое, а лысина аж с синевой. Смешно. На последних сиденьях молодежь устроилась. Вроде учеба идет, а они в деревню едут. Может, помощь колхозу, как раньше было? Хотя, какие сегодня колхозы, если все рассыпалось в пух и плах. Геннадий не стал голову ломать, куда они едут. Отвернулся к окну, сумка на коленях, прислонился к стеклу, кепку на глаза, куртку поплотнее запахнул и задремал...

– Сынок, помоги, – донесся голос отца. – Вот доски привез. С Ванечкой загрузили, а ты уж по дому помоги. Одна надежда на тебя. Лесник дал. Говорит, бери и все. В хозяйстве пригодится. Я беру доски, а они легонькие, словно пушинка. Сразу видно, долго вылеживались. Потрогал, а они теплые. И сосновый запах, который люблю. И мать радуется, что доски припасены. Пусть немного досточек, но для меня хватит. Очень уж хороши! Кум Наум сказал, что непременно в дело пустит. А ты знаешь, какой он мастер. Сынок, слышь меня?..

Геннадий вскинулся. Замотал головой. С недоумением осмотрелся. Бабки продолжали бесконечные дорожные разговоры. Два мужика скооперировались и исподтишка потягивают бормотуху из бутылки. И молодежь в конце автобуса хохочет. А у него отец перед глазами и до сих пор в ушах его голос...

Он мотнул головой. Взгляд за окно. Подъезжаем. Взглянул на старенькие часы. Правда, вроде только задремал, а уже деревня виднеется. Он прислонился к окну. Лес в разноцветье, а опушка пожухлая – коричневой отдаёт. Птицы кружат над лесом. В стаи собираются. Скоро отправятся в долгую дорогу. И плачут с небес, прощаются.

Автобус закрипел рессорами и остановился. Геннадий подхватил сумку, спустился по ступеням и отошел. Вслед за ним вышла женщина, что тоже дремала всю дорогу, а может, не хотела ни с кем общаться. Она медленно осмотрелась, словно не узнала здешние места. Нахмурилась.

– Скажите, а куда делась деревня Ивановка? – сказала она и неопределенно обвела рукой окоем. – Она тут стояла, а сейчас...

И снова взгляд по сторонам.

– Была такая Ивановка, да исчезла, – буркнул Геннадий. – Одно лишь кладбище осталось от нее. Вон виднеется в березовом колке! Это всё, что осталось от деревни.

И Геннадий махнул в сторону пологого холма, на котором виднелась березовая рощица.

– Не успела, – не сказала, а выдохнула женщина и взгляд не отрывает от березового колка. – Всю жизнь откладывала на «потом», а оказалось, что поздно спохватилась.

– У нас всегда так. Думаем, что выберем время и наведаемся, а оказывается, что поздно собрались. Время ушло. Вот и я приехал и не знаю, что меня ждет... А к кому вы приехали? – не удержался, сказал Геннадий. – Вы здешняя?

– Всё времени не было, чтобы родителей проведать, а теперь... – Она снова оглянулась и, не обращая внимания на Геннадия, напрямую направилась к березовому колку.

– Вот и я много лет собирался к отцу. Думал, еще успею. А сейчас стою и не знаю, что думать, – сказал вслед Геннадий и повторил. – Не знаю...

– Слишком поздно вспоминаем о них, а потом плачем... – донеслось издалека.

То ли женщина ответила, то ли ветер шепнул...

Геннадий шагал по обочине, с любопытством посматривал по сторонам. Сколько лет не был в деревне. Изменилась. А что – не мог понять, а потом дошло, что не слышит работу тракторов и машины редкий раз проезжают по деревне. Одна притормозила. Шофер выглянул, пристально посмотрел на него, но не стал останавливаться, а газанул и умчался, громыхая разболтанными бортами.

Кинулась собачонка под ноги. Залилась лаем, того и гляди цапнет, но отскочила, когда донесся чей-то окрик, закрутила лохматой башкой, решая, куда податься, а потом потрусилась вдоль домов по своим собачьим делам.

На улице никого не видно, если не считать деда, который сидел на лавке возле дома в теплом зимнем пальто и шапке, надвинутой на глаза, и дремал, пригревшись на солнце. Мимо прошмыгнула кошка. Серая и полосатая, она почти сливалась с землей и гравием. Притаилась, заметив стайку воробьев, но те – хитрецы, почуяли ее и фыркнули в разные стороны. Поймай-ка нас! Кошка разочарованно пошла к сеновалу. Там мыши, которые днем и ночью покоя не дают – шуршат и шуршат...

Геннадий не утерпел и остановился возле большого киоска, которого раньше не было. Магазин, а рядом этот киоск, возле которого толпились в основном мужики. Геннадий зашел в магазин. Остановился в дверях, оглядывая полки, на которых почти ничего не было. И раньше не разгуляешься, но хоть что-то было. Хлеб, к примеру, сахар и соль, спички и курево. Да много всего было, если перечислять. Даже спиртное было, но на время посевной и уборочной его не продавали. Запрет был. А сейчас взглянул на полки и мотнул головой, даже малой части не осталось из прошлой жизни. Продавщица с любопытством взглянула на него. Видать, новенькая. Хотела было что-то спросить, да поленилась. Навалилась на руку и прикрыла глаза. Можно и подремать, все равно никто не заходит...

– А почему полки пустые? – Геннадий обвел рукой магазин. – Зайди в любой магазин и глаза разбегаются. А тут...

Он пожал плечами.

– Это не ко мне, а к начальству, – протяжно зевнула продавщица и с любопытством взглянула на него. – А вы проверяющий, что ли?

– Нет, бывший проживающий, а теперь приехал в гости, – сказал Геннадий. – Помню, даже в старые времена здесь был товар, а сейчас хоть шаром покати...

– Если не с проверкой, тогда нечего и спрашивать, – буркнула продавщица, напрочь утрачивая интерес к нему. – Вон, идите в киоск и покупайте. Это жинка нашего директора держит. А нас скоро закроют, как сказали. Выручки никакой. Одни убытки. Зато его жинка развернулась, сволочуга!

И принялась лаяться, рассказывая все торговые сплетни.

Геннадий не стал слушать и вышел. Правда, процветают, взглянул на киоск, возле которого толпится народ. Одни хлеб покупают, другие за мелочевкой пришли, а мужики торопятся похмелиться – шланги горят. Огонь полыхает изо рта, того и гляди всё вокруг вспыхнет. Геннадий сунулся к киоску. Спиртным залейся. Любое и на любой вкус и круглосуточно! Он непроизвольно оглянулся на сельсовет, возле которого сиротливо бродила корова и все на этом. А

сейчас еще уборочная не завершилась. И раньше запрещено было продавать спиртное в магазине. За это по головке бы не погладили. А сейчас пей – не хочу и вывеска на киоске «Райский уголок. Работаем круглосуточно». «Цивилизация, мать вашу так! В городе не просыхают, и здесь спаивают», – маюгнулся Геннадий. Хотел было что-нибудь купить, но раздумал и направился в сторону дома.

– Генка, ты, что ли? – окликнули и он увидел крепкую женщину в телогрейке и платке, которая навалилась на забор и смотрела на него. – Это же я, Марья Ястребова. В школе учились. Ты годом старше был. А тебя не узнать. Что, твоя зазноба не кормит тебя? Был лисапед, а сейчас вообще одни ободья остались. А что задержался? Зазноба не отпускала? Ладно, с батей успеешь попрощаться. Чать уж скоро выносить будут...

– Как – попрощаться? – перебил Геннадий, так и не признав женщину. Слишком долго его не было в деревне. – Кого вынесут? Что с ним случилось?

– Тю, будто не знаешь! Помер Егор Матвеич, помер, – поджав губы, сказала она. – Не застал его. Седни хоронить будут. Ко мне Анька Зуенкова прибежала и новость сказала. Я даже заплакала. Жалко Егора Матвеича. До последней секундочки не сдавался. Все надеялся, что выкарабкается. Ан нет, забрала его смертушка. И как теперь будет Ванюшка, светлая душа, даже не знаю. Убивается по родному отцу. Ни на шаг не отходит. А ты... Отец ждал, ты приедешь. А ты...

Она замолчала и махнула рукой.

– Как – помер? – замотал головой Геннадий, а в душе что-то сжалось, аж дыхание перехватило. – Мне же только вчера принесли телеграмму, что болеет. Я достал деньги. Примчался, а тут...

И замолчал, растерянно поглядывая по сторонам.

– Дык, говорят, адрес не могли найти – это же сколько времени ушло, чтобы тебя в городе разыскать, что иголку в стоге сена, – махнула рукой тетка. – Оказывается, ты переехал на другую фатеру, а адрес не сообщил. Может, боялся. Времена, сам знаешь, какие. На улицу выйдешь и не знаешь, вернешься или нет. Я зазря шагу со двора не делаю. Как начинает темнеть, все двери на засов и никому не открою. А у вас в городе одни бандиты по улицам шляются. Телевизир включишь, а там страсть господня, что творится. Что говоришь, Генка? А, спасибо нашему участковому. Запрос сделал через милицию, что ли, так и разыскали тебя. А то батя письма писал, телеграммы отбивал, сам сколько раз ездил, куда в силах был, а тебя и след простыл. Выбыл в неизвестном направлении. Он уж хотел было на поиски подавать, да отсоветовали. Сказали, если бы что случилось с ним, давно бы уж сообщили. А молчат, значит, живой. Но твой батя все равно всех знакомых просил, ежели повстречают тебя, пусть скажут, что ждет он. И не дождался...

Сложила руки под высокой грудью и замолчала, поджав тонкие губы.

– Манька, дай соточку на опохмелку! – раздался хриплый простуженный голос, и к забору подошел небольшой мужичок в галошах на кривых, словно у кавалериста, ногах, драгой фуфайке, из-под которой выглядывала худая грудь с выпирающими ребрами. – Дай сотку, говорю. Потом верну или отработаю. Ты меня знаешь...

– Отстань, шалопутный, – отмахнулась женщина. – А что это тебя твоя ненаглядная чуть ли не голышом выставила? Не удовлетворяешь, что ли? Ну да, такую статуи обработать, племенной жеребец нужен, а ты – хилак. Рожденный пить, в кровати спит.

И захотела.

– Кто спит, а? Да я, если на то пошло, любую бабу ухайдакаю, – выпятил тощую грудь мужичок. – И не смотри, что тощий. Ты, Манька, не пудри мозги. Дай сотку, говорю, а то в следующий раз комбикорм не притащу.

И они принялись лаяться на всю улицу.

Геннадий растерянно потоптался возле них, потом махнул рукой и заторопился к дому. Там уже толпились возле забора. Кто-то заходил во двор, другие кучковались возле скамейки и все говорили и говорили...

Геннадий шагал, а к ногам будто гири привязаны. Жил и в голову не брал, что отец может умереть. Казалось, он будет жить вечно. Всегда хмурый, постоянно в работе, два-три слова скажет и все на этом. Лишь с Ванькой улыбался и разговаривал. Сказки ему рассказывал, а тот слушал разинув рот, и слюна стекала по подбородку. А бывало, брал Ваньку с собой и они шли в магазин. И Ванька, уж взрослый мужик, а улыбался словно ребенок, которому пообещали конфетку. И правда, возвращались, а Ванька хвастался всем, мол, смотрите, папка конфетки купил, и крутил в руке, а с лица не сходила улыбка и опять слюна на подбородке...

– Неужели Генка приехал? – раздался голоса. – Здоров был, Егорыч! Как делишки, Генка? Видишь, горе какое, Генка! А что не приезжал? Денег не было или желания? А не поздновато ли надумал с отцом проститься?

Вопросы посыпались со всех сторон. Одни протягивали руку и здоровались, кто-то похлопывал по плечу, а некоторые отворачивались, будто не замечали его.

Геннадий потоптался возле соседей, отвечая на вопросы, потом распахнул калитку. Прошел по заросшему двору. Осень пришла, а дрова еще не заготовливали. Остатки полениц вдоль заборов, где выше, а там от земли едва поднимаются, теряясь в траве. А раньше, бывало, поленицы над заборами поднимались. Отец поверх рубероид положит, чтобы дождем не мочило. Огромные стоят, длинные. Дождь польет, и с рубероида, словно серебряные струйки, сбегает на землю, а если случайный луч солнца заденет – золото течет. А сейчас нечему сбегать, нечему сверкать... Двор захламлен. И повсюду сорняк вымахал. Репейник чуть ли не в рост стоит, да и крапива не меньше. Видать, отец заболел, и смотреть за двором некому стало. А Ванька... А что Ванька? Что с убогого возьмешь? Он живет в своем мире – этот взрослый ребенок...

Геннадий поднялся на крыльцо. И остановился. Почему-то страшно стало сделать этот шаг, после которого вся прошлая жизнь исчезнет, где были живы родители, где было все по-другому. Исчезнет, а что останется взамен? Геннадий пожал плечами. Он не знал, что будет дальше и как нужно жить...

Он стоял и осматривал двор. Несколько кур бродили по нему, копаясь в мусоре. Белый петух захлопал крыльями, хотел было заорать, и не получилось. Прохрипел и все на этом. Открытый сарай. Коровы уж давно не было. И козы не видно. Пару овец держали, но сейчас тишина. Запустение пришло в дом. Матери не стало, а отцу тяжело было справляться с хозяйством, когда еще одна забота – Ванька, который постоянно требовал внимания. И отец выбрал Ваньку, забросив хозяйство. А Геннадий... Да что Геннадий? Он укатил в город за сладкой жизнью, а сейчас превратилась в полынь-траву, от которой горечь непроходящая и больше ничего. Пока была жива мать, он ездил и помогал. Матери не стало, он рукой махнул на деревню. И если бы не телеграмма, еще неизвестно, когда бы собрался и приехал сюда. А сейчас отца не стало. Не к кому будет ездить. А Ванька... А что Ванька? Он же не сможет жить один. Он неприспособлен к этой жизни. У Ваньки свой мир, в котором он находится. И куда его? Геннадий пожал плечами. Он не знал...

– Гена приехал, – заскрипела дверь на веранде, и на крыльцо вышла худая тетка Анисья в черном платье до пят, черном платке по брови, в руках молитвенник и носовой платок. – А что не заходишь? Боишься? Не бойсь, Генка. Отец словно живой лежит и улыбается, будто радуется, что отмучился и с мамкой встретился. А у самого лоб хмурый. Видать, так и думает, как же Ванечка один останется. Очень уж жалел Ванечку и расстраивался, что случись, как он жить будет. В интернат, наверное, придется отдавать. Ты же не захочешь этот хомут на шею вешать. А Ванечка... Сейчас сам увидишь, когда зайдешь...

Не договорила тетка Анисья. Заплакала. Махнула рукой и спустилась с крыльца.

Геннадий вздохнул. Оглянулся, словно искал поддержку от соседей, но все были заняты. Они стояли возле дома, а кто сидел на лавочке, и говорили и говорили, не обращая на него внимания.

Он снова закрутил головой. Тяжело было, но Геннадий толкнул дверь и зашел в дом. В задней избе, где стояла печь, суетились соседки. На столе места свободного не было. Тарелки и чашки, чугунки и ложки, стаканы и стопки... Он остановился в дверях. Пахло едой и уже отсюда тянуло запахом тлена, от которого некуда было деться. А еще из передней избы доносился заунывный голос – «А-а-а – а... А-а-а – а!», словно кто-то укладывал младенца. И это было непонятно и как-то не по себе, аж на сердце стало нехорошо...

– Старший сын приехал. Слава богу, поспел, – донесся старушечий голос. – А отец расстраивался. Приехал, как чуял. Столько лет не было, а тут... Геночка, с приездом! Горе какое! Вот видишь, как получается. Ехал в гости, а пришел к холодным ногам. И то, едва успел...

Не договорила. Всклипнула.

– Генка и в гости? – со стороны язвительный голос. – Снег летом ляжет, если Генка приехал. Вырос не пришей кобыле хвост. Люди о семье думают, а ему все трын-трава. Видать, жизнь сладкая.

– Ошибаетесь, – не глядя сказал Геннадий. – Горечь полынная – эта жизнь, аж скулы сводит...

– А что так? – опять язвительный голос. – Пока жилось сладко, не вспоминал про родителей, а горечь почувал, примчался? Ты еще поплачь. Глядишь, кто-нить слезки вытрет...

– Не слушай никого, Геночка. Злые языки страшнее змеиного яда. А ты, Лопыриха, придержала бы язычок. Грех это! Не забывай, где находишься, – и тут же подтолкнули Геннадия в спину. – Проходи, Ген, в избу-то. Не стой на пороге. Это и твой дом, между прочим. Иди, с бабьей и братом поздоровкайся. Они каждый день ждали тебя, а дождался один...

Геннадий снял кепку. Сумку сунул какой-то бабке, даже в лицо не глянул – знакомая или нет. Остановился возле двери в переднюю избу. И шагнул в полутьму. Остановился. Душно. В носшибанул запах воска и тлена. Тяжелый запах. Давил его, будто заставлял на колени встать. Но Геннадий мотнул головой, словно скидывая наваждение. Глаза не сразу привыкли к полутьме. Окна были закрыты ставнями, тусклое зеркало завешено простыней. На старом, едва работающем телевизоре, тоже тряпка. Посреди на табуретках стоял простой гроб, обитый красным материалом (гляди ты, заранее приготовили), вдоль него на лавках сидели старухи. Какая-то бабка в черных одеяниях читала в изголовье. В полусумраке можно было рассмотреть исхудавшего отца, нос заострился, бороденка клинышком, кадык выпирает на худой морщинистой шее. Сам в костюме. Это еще мать при жизни приготовила смертную одежду. Геннадий смеялся над ними, а не рановато ли собрались, а мать отвечала, чтобы вы опосля не мучились, когда придет наш последний час. И, правда, все было приготовлено в последний путь. Все тихо сидели, едва слышно перешептывались. Бабка читала. А спиной к нему, обнимая гроб в ногах, раскачивался его братишка, Ванька, и, не обращая внимания на соседей, заунывно тянул, словно младенца укладывал – «А-а-а – а... А-а-а – а!»...

– Горе-то, какое, Геночка! – за спиной раздался шепот. – Отец помер. Одни остались на белом свете. Ладно, ты пристроен. А как же наш Ванечка будет жить? Он же хороший, только умишка кот наплакал. Отец скока раз просил фершалку, чтобы помогла ему, хоть таблетки дала или микстуры, а она говорит, здесь таблетки не помогут, если своего ума нет, чужой в его голову не вложишь. А Ванечка безотказный. На помощь позовешь, он впереди отца торопится. И будет помогать, пока не остановишь. А похвалишь, он радуется, что угодил. Как он станет жить без отца-то? Кому нужен такой – убогонький? Вы же родные братья, ведь он пропадет же в интернате, если его определишь туда...

Геннадий зыркнул исподлобья, но промолчал. Не знал, что сказать.

Он шагнул в полутьму. Кто-то из старух увидел его, поднялась с места и поманила.

– Присаживайся, Геночка, – зашелестел голос. – Горе-то какое, Егор помер. Осиротели вы с Ванечкой. Присаживайся. Посиди. Поговори с родным папкой. Он услышит тебя. Столько лет не был. Наверное, есть о чем поговорить с ним. Егор ждал тебя. Выйдут с Ванечкой ко двору и смотрят на дорогу. И вот дождался. Поговори с ним, потом не получится...

И легонько подтолкнула к скамейке.

Геннадий подошел к братишке. Остановился за спиной. Неловко провел по стриженной голове, потом положил руку на плечо взрослого братишки, но Ванька не обращал внимания. «Оглянись, – это же я приехал!» – хотелось крикнуть Геннадию. И не смог...

Он потоптался и присел на краешек лавки. Взглянул на отца. От дверей не было заметно, а сейчас в глаза бросилось, как отец постарел. Сильно. Крепким был, жилистым, а сейчас старик лежал перед ним. Кадык торчит. Щеки плохо выбриты. Так и хотелось протянуть руку и дотронуться. Узкие впавшие губы словно улыбались. Отмучился, будто хотел сказать, но морщинистый лоб в то же время говорил, а с кем же Ванечка останется? Пропадет же, сынок! И Геннадий непроизвольно взглянул на Ваньку. Даже не Ванька, а Иван. Это был далеко не мальчишка или парень с постоянно блуждающим взглядом, вечной улыбкой на лице, словно он каждому встречному-поперечному был рад и неиссякаемой струйкой слюны на подбородке, каким запомнил его Геннадий. Сейчас сидел настоящий мужик, выпуклый узкий лоб, короткая стрижка и даже в полутьме была видна седина, старенькая клетчатая рубашка, наглухо застегнутый ворот, несмотря на то что в доме духота, и помятые брюки. Он был чем-то похож на отца. Наверное, такими же густыми бровями и мосластыми крупными руками, а может, еще чем-либо, сейчас Геннадий не мог понять, да и желания не было. Иван взглянул на старшего брата и не улыбнулся, как обычно – и это было непривычно. Иван посмотрел, словно не узнал брата. Так, безразличный взгляд и все. И снова опустил голову. Иван обнимал край гроба, редкий раз гладил рукой ноги отца, сам раскачивался и заунывно тянул, словно младенца убаюкивал – «А-а-а – а... А-а-а – а!». И так больно, так тоскливо, что Геннадий замотал головой, торопливо расстегнул куртку и принялся растирать грудь – сердце заболело, с переборами заработало, того и гляди остановится. А Ванька продолжал убаюкивать...

– Уснул твой папка, Ванечка, уснул. – Старушонка погладила его по голове. – Никто его не разбудит. Вечным сном спит. Вечным...

Что-то еще прошептала и вышла из передней избы.

– На-ка, выпей, – перед ним стопка и запахло корвалолом. – Выпей, легче станет. Заметила, как в лице изменился. Что, не ожидал увидеть такое? Уехал и забыл, как многие об этом думают? Ан нет, дорога все равно приведет к родному дому, хочешь этого или нет. Еще ни один мимо него не прошел, и ты – тоже...

Геннадий хотел было огрызнуться, но промолчал. Выпил лекарство. Передернулся. Склонил голову, сгорбился и снова взгляд на отца.

В избу входили и выходили соседи. Подходили, что-то тихо говорили Геннадию, трепали его за плечо, мол, держись, гладили по стриженной голове Ваньку, который не обращал внимания ни на кого, а только раскачивался, редкий раз смотрел на отца, а взгляд не блуждающий, как обычно, а пристальный, словно он понимал, что пришла беда, и хотел что-то сказать или спросить, а в глазах боль – тягучая и тоскливая, аж душу сжимало, а он не видел никого, кроме отца, сидел, раскачивался и заунывно тянул, словно убаюкивал – «А-а-а – а... А-а-а – а!»...

– Может, покушаешь, Ген? – кто-то прошептал за спиной. – С дороги ведь. Чать проголодался. Пока на мазарки снесем, все попрощаются, покуда вернемся, лишь опосля за стол сядем...

Геннадий покачал головой.

– Вот у Ванечки уж который день маковой росинки во рту не было, – опять послышался шепот. – Так и сидит возле отца, так и баюкает. Господи, что же с ним будет? Никого из родни не осталось. Пропадет же наш Ванечка, пропадет...

Тихий всхлип и тишина.

Геннадий оглянулся. Рядом никого не было. Кто говорил с ним – непонятно.

Опять взгляд на отца. Впавшие щеки. Темные глазницы. Узкий нос с горбинкой. Рубашка на нем была в мелкую клеточку, почему-то бросилось в глаза, а костюм коричневый. Руки поверх. Мосластые руки, крупные. Даже сейчас были видны мозоли, словно кирза. Даже после смерти руки не отмылись. А в них иконка и свечка. Отец всегда хмурился. Наверное, поэтому даже после смерти на лбу морщины не разгладились. И улыбался редко. Улыбался, когда с Ванькой баловался, а тот заливался, словно маленький ребенок. А сейчас баловаться некому стало. Геннадий хотел было подняться и подойти к Ваньке, но не стал. Иван все равно сейчас его не заметит. Он так и сидел, редкий взгляд на отца и непрерывно – «А-а-а – а... А-а-а – а!»...

Геннадий исподтишка осмотрелся. Все было, как в прежние времена. Ничего не прибавилось. Да и что может появиться нового, если жили на копейки. В городе еще можно копейку-другую скалымить, а в деревне нужно надеяться только лишь на себя и свое хозяйство. Он смотрел и не понимал, как отец один справлялся со всеми делами по хозяйству. Иван – это большой ребенок, за которым нужен глаз да глаз. И получилось, что на отца свалилось все, а он не помогал, потому что он обиделся на родителей из-за Ваньки. И эту обиду пронес через многие годы. А сейчас он смотрел на отца, оглядывался по сторонам, задерживал взгляд на Иване и не знал, что ему делать...

На стене фотографии в темных рамках. Он уж не помнил, кто на этих снимках. Родственники и родители, кто же еще. Но его не было – это точно. И Ваньки не было. А там завешенное окно, засохший цветок на подоконнике, и рядом кровать – это еще от матери сохранилась. Наверное, батя спал на ней. Геннадий не забыл, как отец сидел после похорон матери возле кровати, о чем-то думал и поглаживал подушку. Видать, мать вспоминал. Они с матерью хорошо жили. Не ругались. И времени не было ругаться. И работа, и хозяйство, и Ванька, за которым нужен был присмотр. И сам сколько проблем создавал родителям. То в школе жалуются на него, то соседи, то замечали, что Ваньку обижает. И попадало ему по-первое число, как говорила мать. А ему было обидно. Ваньку жалели, а его лупили. И долгие годы сторонился Ивана. Казалось с малых лет, от него все беды. Во всем Ванька виноват и в его непутовой жизни – тоже...

Годы прошли. Но обиды не исчезли, а спрятались куда-то глубоко в душе, и иной раз напоминали о себе, и тогда Геннадий жалел себя, а вину перекладывал на других. И с той поры у него появилась привычка жить для себя и ни для кого более. Так и есть, кроме себя никого не замечал, а может, не хотел видеть. Пока был молодым, не думал о завтрашнем дне, женился, тут уж жена за него думала и решала, а он принимал это как должное. Зачем бошку ломать, когда тебе разжуют и в рот положат, а будешь глотать – сам решаешь. Этим он и занимался, пока с женой не разбежались. Вот тут и выяснилось, а к жизни он не приспособлен. Нет, он жил, как другие, делал все, что нужно, но думать приходилось самому, что было непривычно. А сейчас не стало отца. И тоже нужно было думать не только о сегодняшнем, но и завтрашнем дне. А получится ли – он не знал...

Геннадий потихонечку поднялся. Бабка, что сидела напротив, взглянула вопрошающе. Он достал сигареты. И потихонечку вышел. Иван даже не взглянул на него. В задней избе сушили соседки. Готовятся к поминкам. Пахло щами с кислой капустой, тут же запахи пирогов и еще чего-то, но больше всего пахло тленом. Он давил, не давая вздохнуть. Казалось, все было пропитано им. Геннадий сдернул куртку с большого гвоздя, который заменял вешалку, и вышел, притворив дверь.

Он стоял на крыльце и курил. Смотрел на деревню. Вроде все то же, но что-то в ней изменилось. Может, постарела за эти годы или он повзрослел и смотрел на жизнь другим взглядом. А может, и сюда добралась эта перестройка и начнет привычную жизнь переворачивать с ног на голову. Но в то же время мысли в который уж раз возвращались к отцу и Ваньке. Ведь когда

он приезжал на похороны матери, у отца даже не спрашивал, как он станет жить, и батя ни словом не обмолвился, потому что у него была всего лишь одна забота – младший сын, если его не станет, как будет Ванька жить, ведь он же вообще не приспособлен к этой жизни. У него был свой мир, в который никого не пускал. Геннадий помнил, как Ванька мог остановиться в любом месте и уставиться поверх голов или за спины людей и что-то там рассматривал. Тыкал пальцем, пытался сказать и улыбался, а в блуждающем взгляде была радость. Видать, он жил в куда более светлом мире, который другие не видели и не понимали...

– Здоров был, Генка, – заскрипели ступени, щуплый кум Наум ткнул жесткую ладонь – поздоровался. – Успел-таки приехать? А почему долго? Телеграмму отбили еще когда, мог бы пораньше приехать...

Он насупился. Снял затасканную фуражку. Блеснул лысиной. Достал из кармана цветной лоскут, видать, заменял ему носовой платок, вытер лоб и опять фуражку на голову и козырек на глаза.

– Здрасьте, дядька Наум, – сказал Геннадий. – Мне вчера вечером отдали телеграмму. Утренним автобусом поехал в деревню.

– Видать, в дороге затерялась телеграмма, – вздохнул кум Наум. – Нынче времена такие, что не знаешь, что завтра будет. Ну, как живешь, Генка? Чать миллионщиком стал? Говорят, в городе через одного миллионщики живут.

Он хохотнул было, оглянулся и закрыл щербатый рот. Бабки быстро отлают. Нашел время для веселья. Похороны, а он развеселился...

– Я уж был миллионером, когда мильёны платили, а сейчас даже на булку хлеба нет, – вздохнул Геннадий и нахмурился. – Как уволили с работы, с той поры с копейки на копейку перебиваюсь. Устраивался к одному ухарю. Бригадой дом строили. Все лето пропахал, а он всех послал и ни копейки не уплатил. А кому жаловаться? Таких, как мы, толпы на улице. Если на заводах зарплату задерживают, а другие ее по полгода и более не видят, что говорить о частниках? Кукиш покажут и выкинут на улицу. Знают, что жаловаться не пойдут. Всем плевать, сдохнешь ты или нет. Эх, жизнь – горечь полынная!..

Геннадий достал сигарету, закурил и запыхал, поглядывая вдаль.

– Правду говоришь, никому не нужны, – сдвинул на затылок фуражку кум Наум. – Я сколько ходил к председателю, просил бревна на доски распустить, а он завтраками кормит, а сам с гостями мотается по охотам и рыбалкам, да еще гостинцы с собой дает. А раньше бы за это с должности слетел и в кутузку бы закрыли, а сейчас им все можно. Ладно, заранее твой батяка доски на гроб приготовил. Сколько лет хранились у меня. И матери вашей сделал домовину, и батяке смастерил. Легонький получился гроб, теплый, а хвоей пахнет – страсть!..

– Я знаю, что ты сделал гроб, – перебил Геннадий, затыкнул, поплевал на окурочек и бросил в ведро с водой. – Отцу понравился. Он любил тепло. И мать радуется...

– Что говоришь-то, Генка? – сказал кум Наум и оглянулся по сторонам. – Откуда ты мог знать, если батяка помер?

– Батя привиделся, когда ехал сюда, – буркнул Геннадий. – Он сказал про доски и хвойный запах. И мать видел. Она рядышком с ним стояла. Радовалась.

– Ну и дела... – мотнул головой кум Наум. – Кому сказать, брехуном обзовут... – Он помолчал, потом взглянул: – Слышь, а что будет с Ванюшкой? Он же хороший, хоть ума кот наплакал. Покладистый. И помогает, если попросишь. Как ему жить, ведь умишка маловато? Ведь пропадет же в интернате. Он к свободе привыкший, а там, словно в клетку, пропадет. С тоски помрет...

– Везде можно пропасть и в городе – тоже, – нахмурился Геннадий. – Куда его в город забирать? Я сижу без работы. И он еще появится. Так-то жрать нечего, а с ним вообще сдохнем с голодухи. Я с утра и до вечера работу ищу, чтобы копейку-другую заработать. А кто за ним

станет присматривать? На улицу выйдет, там такие ухари живут, что вмиг хату обнесут, а его без башки оставят. И не посмотрят, что дурачок. Остатки мозгов вышибут...

– Не дурак он, а убогонький, – с какой-то обидой сказал кум Наум. – Он же родной брат, а ты его – дураком. Эх, Генка, что с тобой говорить – все равно не поймешь! Как жил для себя, так и...

Он не договорил, махнул рукой и скрылся в избе.

– Да, жил для себя, а чего нажил? – вскинулся вслед Геннадий. – Ничего! Ничего, кроме головной боли. У меня даже запасных штанов не осталось, а ты еще попрекаешь, дядька Наум. Вот тебе и сладкая жизнь...

И отвернулся.

Геннадий не стал заходить в дом. Стоял на крыльце. Мимо ходили соседи. Одни останавливались и расспрашивали, почему он не приезжал. При жизни родителей забыл. И совестили его, носом тыкали. Не просто носом, а мордой возили и старались побольнее, чтобы до самых печенок проняла эта боль. Геннадий молчал. А что говорить, он и сам понимал, что вина его большая, но время ушло и уже не вернуть, чтобы исправить. И молчал. А другие мирно говорили. В основном про отца рассказывали и жалели Ваньку, который ни разу не вышел из избы, а сидел и раскачивался, а сам – «А-а-а – а... А-а-а – а!». Даже на крыльце был слышен его голос – протяжный, тоскливый и больной...

Опять посыпалась нудная морось. Небо низкое. Вроде день на дворе, а словно вечер наступил. Но соседи не уходили. Так и толпились возле двора. А некоторые заходили в избу. Немного побудут и снова во двор.

И плач поднялся, когда вынесли отца. Сыпал мелкий дождь, а у отца лицо светлое стало, и даже показалось, морщинки разгладились, а вот на лбу так и остались – глубокие и частые. И по этим морщинкам стекали дождевые капли, и порой казалось, отец плакал. Это природа плакала, а вместе с нею плакали соседи. А когда отца повезли на телеге, Ванька сидел в ногах и продолжал убаюкивать отца. И было непонятно, плачет он или нет, по лицу стекали капли. Стриженная голова мокрая, и никак не хотел надевать фуражку. Мотал головой, скидывая ее, когда кто-нибудь из соседей пытался ее надеть. Ведь простудится. А он ни в какую. Сидел, смотрел на отца, порой поглаживал его по ногам и снова взгляд на него, почему он лежит, почему не встает и куда его везут, он же дома всегда был, а тут... и обводил всех взглядом, а в глазах тягучая боль.

И на кладбище, когда заколотили гроб, Ванька не отпускал его, мешая мужикам, и все оглядывался на Геннадия, словно хотел сказать, ну что ты стоишь, там же отец! Но Геннадий стоял, опустив голову, и старался не встречаться с ним взглядом.

– Что стоишь как истукан? Отведи его в сторону! – Кто-то больно ткнул в спину. – Подойди к Ванюшке. Видишь, убивается он. Схоронят отца, и пропадет Ванечка. Нет у него защиты в этой жизни. Пропадет...

И опять тычок в спину.

Но Геннадий стоял и смотрел, как деревенские мужики споро работали лопатами. Вот уже холмик появился. Воткнули крест. Видать, тоже кум Наум сделал. Немного корявый, но крепкий. А у матери небольшой памятник. Теперь они вместе лежат. Откуда-то появился венок. Небольшие букетики осенних цветов. Соседи стояли, перешептывались. Смотрели на Ваньку, исподтишка взгляды на Геннадия, который попрощался с отцом, отошел в сторону и застыл. Кепка в руках. Голова мокрая. А он внимания не обращает. Стоит, опустив голову, и молчит. Взглянет мельком на Ивана, посмотрит на деревню, что протянулась вдоль речки, окинет взглядом густые леса в осеннем разноцветье и снова взгляд в землю.

Мелкая морось не прекращалась, и соседи потихонечку потянулись с мазарок.

– Тетка Анисья, возьми деньги. – Геннадий остановил ее. – Потрапились на похороны. Может, кому должны. Раздайте...

– Себе оставь, – не сказала, а выдохнула тетка Анисья и оттолкнула руку. – Еще пригодятся, когда Ванечку будешь оформлять в интернат. Эх ты, брат! Кровинка родная, называется!..

Снова толкнула и зашагала по тропинке.

Геннадий поморщился, словно взяли и ткнули мордой, и так больно, аж в груди заныло. Он потоптался, не зная, что делать с деньгами, потом сунул в карман.

– Ванечка, айда домой, а то простудишься. – Некоторые останавливались возле Ивана и пытались увести его с собой, но Иван продолжал сидеть возле холмика и только мычал, с недоумением оглядываясь на соседей – куда уходите, здесь же отец остался, но соседи продолжали его уговаривать. – Ванечка, твой папка на небесах, – и они тыкали пальцами в низкие облака. – Они с мамкой сидят там и смотрят за тобой. А ты не слушаешься нас. Они будут недовольны. Айда, Ванечка, а то простынешь, кто тебя лечить станет? Папки-то нет...

Забывшись, сказала одна из старушек и всхлипнула, а потом зажала рот рукой, когда Ванька оглянулся на нее.

Все меньше оставалось соседей на кладбище. Одни еще стояли возле отцовской могилки, а другие разбрелись по тропкам, чтобы заодно проведать своих, кто тут покоится. Здесь хорошо. Березки шумят над головой. Ветер дунет, и золото с ветвей опадает. Вскоре всю землю закроет. А там и зима не за горами. Завьюжит, занесет снегом, что не пролезешь. И будешь весны дожидаться, чтобы снова сюда прийти...

– Ген, что стоишь? – заскрипел голос бабки Акулины. – Почти все ушли. Ванечку жалко. Убивается, малец! Один остался. Ты в городе, а он...

Не договорила, махнула рукой и украдкой вытерла мокрые глаза.

– Вы идите, а мы еще посидим и придем, – сказал Геннадий. – Побудем тут и вернемся. И взглянул вслед соседке, которая едва шагала по осенней слякотной дороге.

Геннадий оглянулся. Почти никого не осталось. А кто был, они не обращали внимания на них. Геннадий потоптался возле оградки, где лежали отец и мать. И присел рядом с братишкой на узкую скамеечку. И опять взгляд на могилки. После смерти матери он всего лишь раз был в деревне, а сюда не зашел. Было видно, за ее могилкой ухаживали. Наверное, отец с Ванькой приходил, а больше некому. И холмик ровенький, и веночек лежит, даже небольшой, но поставлен памятник. А ему не сказали. Он нахмурился. А как скажут, если адреса не знали. Ладно, сейчас смогли разыскать, а то бы приехал в деревню, а тут никого не осталось. И как-то нехорошо стало на душе, когда об этом подумал. Мать хоронили, в последний день приехал и сейчас опять в последний момент успел. Жизнь прошла, а времени на родителей не нашлось. А уж на Ваньку – тем более. Видел, как братишка убивался по отцу, а сам стоял и в душе пустота. Почему? А сейчас, когда вырос холмик и Ваньку не могли оторвать от него, он смотрел на всех и соседи отводили глаза. И Геннадий отвел глаза. Не смог выдержать Ванькин взгляд. Словно в душу хотел заглянуть, внутри всё сжалось и стало так больно, аж выть захотелось. И сейчас бы завыл – громко, протяжно и больно, да головой о камень, о холмик, да так, чтобы кровь во все стороны брызнула... но не получится – поздно спохватился...

Геннадий долго сидел возле оградки рядом с братишкой. Думал. Посмотрит на могилки. Покосится на Ваньку. И взгляд в землю. Опять посмотрит, потом на деревню, что виднелась отсюда. И опять взгляд в землю и думает. А спроси его, о чем думы твои, Генка... Геннадий Егорыч? Он бы пожал плечами. Не знаю... Вроде ни о чем, а в то же время он думал о жизни. Вспоминал прошлое и думал о будущем. Мысли о детстве, где были живы родители и Ванька, который ни на шаг от него не отставал. Повсюду таскался за ним, словно хвостик, а он злился и гнал его прочь. И опять мысли о жизни. Одно всплывет, другое и третье, и он понимал, почти полжизни прожито, а что у него за спиной? Да ничего! Вообще ничего не осталось. Была семья... Нет, не жена и городская жизнь, а настоящая семья, где были живы родители и был Ванька. Где был суровый отец, который мог и ремня дать, если Ваньку обижал, где мать ста-

ралась примирить их, а он не хотел этого, потому что ему казалось, что все внимание достается Ваньке, а он не нужен в семье. И уехал после школы. Решил счастье найти. А какое оно – это счастье? Кто знает? Кто может сказать и показать его? Он думал, что счастлив стал, когда в город перебрался. Яркие огни, новые друзья, девчонки, кафешки и свидания. Свадьба и семейная жизнь, которая не принесла ничего, кроме головной боли. Годы пролетели, а на душе осталась лишь горечь полынная и ничего более...

А где же тогда счастье, за которым он уехал? Где оно – кто скажет? И почему он злился всегда, когда вспоминал деревню, родителей и брата Ваньку, а сейчас сидит возле могилки и оторваться не может. Он уж сколько раз порывался встать и не получалось. Доставал сигареты, закурил и опять мысли о деревне, отце с матерью и Ваньке, а соседи его Ванечкой зовут. И радуются ему, и каждый норовит мимо пройти и погладить его или просто ласковое слово сказать. Вот это и есть счастье – деревня, из которой сбежал, соседи, про которых он забыл, а они помнили его и радовались, что он приехал, мазарки, на которых лежат родители, и Ванька – убогий братишка, который радуется каждому встречному и всем улыбается, но живет в своем мире?

Все давно ушли. А Геннадий с братишкой сидели на скамеечке и молчали. Редкий раз друг на друга посмотрят и снова молчат. О чем думал Ванька – непонятно, да и думал ли... Уставился в одну точку и не шелохнется. Протянет руку, погладит холмик, посмотрит на Геннадия, а в глазах боль тягучая и непроходящая, и снова гладит холмик. Геннадий помнил, так делал отец, когда умерла мать. Сидел возле кровати и гладил подушку. И Ванька повторяет...

Они долго просидели возле холмиков. Потом Геннадий склонился. Провел ладонью по холмикам, словно прощался, а может, разговаривал с родителями. Потом поднялся. Дотронулся до плеча. Ванька вскинул голову.

– Айда, Ванёк, домой, – сказал он. – Поздно уже. Соседи заждались...

Иван замычал и оглянулся на холмик. Ну как же так, отец здесь, а мы... и полыхнула боль в глазах.

Геннадий мотнул головой и невольно передернул плечами, заметив его взгляд – горечь полынная на душе, от которой никогда не избавиться...

– Пошли, Ванюшка, – повторил Геннадий и ткнул пальцем вверх. – Сейчас папка с мамкой смотрят на нас с небес и радуются, что мы будем вместе. А завтра снова придем сюда. Посидим с ними и поговорим. Обо всем будем разговаривать. А потом делами займемся. Мне станешь помогать, или я буду учиться – не знаю... Работы много, успевай только поворачиваться. Ничего, Ванюшка, будем жить!

Ванька нахмурился, повернулся и посмотрел на него, словно в душу заглянул, аж жгало внутри и опять полынной горечью охватило. Иван шевелил губами, словно что-то хотел сказать, и не получалось. Он задрал голову, долго всматривался в небеса. А потом заулыбался, словно что-то увидел в вышине. Открыто и радостно улыбнулся, как раньше бывало. И поднялся.

И они пошли. Такие разные, но в то же время самые близкие люди – братья...

Дом, где всегда ждут

Аким Базанин уселся на кровати, мотнул головой и вполголоса зачертыхался. Опять одолели сны. Почти каждую ночь мать снится. И сегодня, казалось, едва закрыл глаза, как рядышком послышался её голос. И звала так жалобно, протяжно: «Акимушка, сыночек...» Звала, словно что-то произошло. Всё чаще и чаще в последнее время одолевают тревожные сны, будто какая беда случилась...

Аким поднялся. Зашлёпал по полу. Взял со стола сигареты и спички, распахнул окно, закурил и уселся на стул, прислушиваясь к ночному городу.

– Что не спишься тебе, полуночник? – заворчала жена и, приподнявшись, взглянула на него. – Надымил, хоть топор вешай. Сколько можно говорить, чтобы дома не курил. Все вещи провоняли, по улице не пройдёшь, люди нос воротят...

– Спи, – буркнул Аким и опять потянулся за сигаретами. – Снова какая-то дурнина приснилась, аж вскинулся на кровати. Слышь, Верка, я, наверное, в деревню съезжу.

– Ага, больше делать нечего, как по деревням разъезжать, – повысила голос жена, отвернулась от него к стенке и укуталась в толстое одеяло. – Ты же пообещал, что путёвку в санаторий возьмёшь. Я уже платье сшила. Где в нём стану щеголять, а? За него же деньги плочены.

И замолчала, укрывшись с головой.

– Плочены, заплочены... – буркнул Аким, передразнивая жену, и запыхал едучим дымом. – Каждый год в санаториях да на курортах бываешь, а я сколько лет до деревни не могу добраться. Получается, что до моря ближе, чем до родного дома.

И задумался, поглядывая в ночную тьму. И правда, сколько лет собирается съездить, а всё времени не найдёт. То на работе аврал за авралом и тогда приходилось не работать, а пахать без выходных и домой появлялся лишь для того, чтобы немного поесть, но лучше поспать, если удавалось это сделать. Вырвется на пару часиков домой. Едва в дверь зайдёт, а с работы уже названивают, снова его вызывают и так, пока авралы не закончатся. А там конец месяца или квартала, полугодие, а следом годовые отчеты. А ещё нужно жену в санаторий или на курорт свозить, или взять отгулы и с ней в столицу съездить. Не часто, а всего раз-два в месяц, когда бзик на жену нападает. Благо, что столица неподалёку, всего лишь ночь протрястись и гуляй – не хочу. Правда, не для того, чтобы по музеям или выставкам ходить, а ехала, чтобы по магазинам пошляться, и он нужен был, как носильщик и не более того. Домой возвращались груженные всякой всячиной, еле-еле баулы затаскивали в квартиру, зато без копейки денег, но жена оставалась довольна поездкой, и тогда ему приходилось договариваться, чтобы включили дежурства, или просил работу на выходные, чтобы немного подзаработать денег. Зато дом полная чаша. И жена рада каждой безделушке, чуть ли не воркует над ними. Дети одеты и обуты, да ещё младшенькой помочь нужно, а старшие уж свои семьи имеют, но всякий раз приходится помогать деньжатами, потому что они не научились укладываться в свои зарплаты. И так всякий раз, каждый год...

Аким частенько своё детство вспоминал. Всё пытался детишкам рассказать, как ему в деревне жилось, а они почему-то не слышали и не понимали его, а может, не хотели понять, о чём говорил. А что непонятного, если рассказывал, как они коров пасли или овечек, про картошку, как сажали и копали, про тыквенную кашу с пенками, вкус которой до сих пор помнит, а ребятишки носы воротили, едва услышав про неё. Говорил про сенокос, когда уезжали в предутренних сумерках, а возвращались в ночной тьме. Сено возили ночами, потому что днём машину не давали в колхозе, и родители радовались, если в ночь приезжала, и тогда отец никому спуска не давал. Всю семью заставлял работать. А как не работать, если скотинку держали. Вот и приходилось пластаться, а они не понимали, почему отец рвётся в эту самую деревню, где, как казалось ребятам, жили вытягивали из людей, заставляя пахать с утра и до

ночи. Оттуда нужно бежать сломя голову и не оглядываться, а отца тянет в деревню – это было странно и непонятно...

Аким часто вспоминал родителей. Отца давно снесли на мазарки. Сердце лопнуло, как мать говорила. Надорвался на работе. С матерью лишь младший остался, а пятеро остальных в город подались. Поразбросало по стране, как ветер уносит листья с деревьев. Разлетелись в разные стороны и, где ветер стих, там и пустили корешки. Семьями обзавелись, детишки народились, а вот в родительский дом приехать – это не каждый смог, а кто вырывался, можно по пальцам пересчитать приезды и красным цветом пометить дни в календаре, как великие праздники. А отец ни про кого не забывал. Всё посылки отправлял или через знакомых передавал, а бывало, деньги присылал. Копеечка к копейке складывал и отправлял тому, кому они нужнее, как он думал. И никто не отказался от гостинцев и денег. Все брали и считали – это небольшая родительская помощь и не более того, а то, что они обязаны помогать родителям, почему-то забывалось. Так и получалось, что отец жилы рвал на работе и по хозяйству, лишь бы помочь детям, а они принимали как должное. И умер отец в работе. Стог метал. Зацепил сено, рванул, хотел было поднять, и осел. Привалился к стогу, хотел что-то сказать матери, потянулся к ней и захрипел. Умер.

Уж сколько лет пролетело, как отца не стало, когда Аким последний раз приезжал на похороны, побыл до девяти дней, отвели поминки, а потом укатил в город, и с той поры не нашлось времени, чтобы проведать мать и в родительском доме побывать, где детство прошло, где были друзья, и первая любовь была, из-за которой ночами не спалось, и где... Да мало ли, сколько всего было за столь короткий срок его жизни, пока в город не перебрался. А там жизнь ключом, всё торопишься, куда-то мчишься, чего-то хочется добиться, а про деревню вспомнить-то некогда, но бывало, накатывала тоска, аж выть хотелось. Бросить бы эту городскую жизнь к едрене фене и укатить в родную деревню, где его заждались. И тогда он ходил туча тучей, не то что дети, даже жена опасалась к нему подходить. Глянет из-под бровей, рыкнет, аж мурашки пробежали от его голоса, схватит свои сигареты и смолит одну за другой, пока тоска не отступала. Всё мать жалел. Как же она, бедняжка, одна справляется с хозяйством? Младший-то при ней, да из него помощник никакущий, как Акиму казалось. Молодой ещё, зелёный. Всё нагуляться не может. С армии вернулся, заехал к Акиму. Посидели, ни о чём поговорили. День-два побыл в гостях, а потом домой засобирался. Не по душе город пришёлся. «Суета, да и только», – сказал он. Аким накупил гостинцев, сунул немного денег, и Шурка уехал в деревню, радуясь, что домой возвращается. Потом ещё два приезжал в город, но старался одним днём побывать. Всегда говорил, что воздуха ему не хватает, простору, так сказать. Оставлял гостинцы, полчаса сидит на диване, всё ёрзал по нему, и свои огромные ручищи не знал, куда деть, то под мышки сунет, то в карманы, а потом поднимется и к дверям подаётся. Говорил, что колхозная машина ждёт. И уходил. Аким оставался, а на душе была какая-то недосказанность, неудобство, что ли... Мать слёзное письмо прислала, что братишка стал по девкам шляться. Того и гляди, какая-нибудь в подоле принесёт. А ему хоть бы хны. Посмеивается... И мать просила, чтобы он приехал, образумил младшенького, на путь истинный наставил, ведь собьётся с пути, а поругать некому... И каждый раз, получая письма, Аким начинал собираться в деревню. Говорил, что возьмёт очередной отпуск и закатится к ней. Уму-разуму младшего научит и матери поможет. Но проходило немного времени и Аким уже не в отпуск собирался, а хотя бы на недельку съездить, чтобы мать повидать, с ней поговорить да отцовскую могилку проведать. А потом и вовсе откладывал поездку. Отпуск наступал, надо было с женой ехать в санаторий или снова брать отгулы и тащиться в столицу и опять с полными баулами возвращаться, а потом в неурочное время выходить на работу, лишь бы копейку заработать, зато дом полная чаша, жена довольна и дети одеты-обуты...

И опять дурной тревожный сон, младшего братишку увидел, будто сидит на лавке возле дома, а от дома одно название осталось. Весь покосился, пустыми глазницами в небо уста-

вился, ставни висят, под ветром хлопают, того и гляди оторвутся. Забор повалился, лишь редкие столбы торчат, но и те едва держатся. Двор зарос сорной травой. Недуром прёт она, всё заполонила. Смотрел Аким на родной дом, и внутри боль. Никого не осталось. Дом заброшен, а возле двора на бревне сидел распянувший братишка в рванине, потом поднялся и побрёл в сторону погоста, а сам рукой машет, словно зовёт за собой, но почему-то голос матери послышался: «Акимушка, сыночек, иди ко мне...» И жалобно так, протяжно и едва слышно, а голос болезненный, словно на смертном одре лежит и к себе зовёт. Наверное, в последний раз свидеться хочет, а может, за собой позвала. Поэтому сны дурные одолели...

Вскинулся Аким. Уселся на кровати. Замотал головой, стараясь разогнать сон, а он липкий, словно паутина цепляется, и отпускать не хочет. Проснулся, а сон перед глазами стоит, никак из него не вырвется. Сидел на кровати, а казалось, будто в деревне находится и перед глазами чёрная собака, которая мимо него пробежала и укусила норовила, а он вроде бы штаткиной отгонял. Собака кидается, а братишка смеётся. Аким смотрит на него, а у того ни одного зуба во рту нет, какие-то осколыши торчат, а лицо землистое, опухшее, и снова мать позвала: «Акимушка, иди сюда...»

– Ну что тебе не спится-то, полуночник? – привычно заворчала жена. – Только и делаешь, что шляешься по квартире и куришь одну за другой. Не продыхнуть от дыма. Сам не спишь и мне не даёшь. А я с утра к парикмахеру записалась. Как пойду с опухшими глазами...

– На ощупь потащишься! – не сказал, а рыкнул Аким и крепко ударил кулачищем по столу. – На ощупь и не промахнёшься, потому что каждую неделю там бываешь, всё прихорашиваешься, всё молодиться, а пора бы о душе подумать. – И повторил: – Всё, собираюсь в деревню. Ещё одна ночь коту под хвост!

И снова грохнул кулаком, аж соседи снизу затопали. Видать, разбудил...

– Что ты рвёшься в эту деревню? – взвилась жена. – Пора забыть про неё. Живёшь в городе, вот и живи, как все нормальные люди. Мало ли кто и где родился и вырос. Я тоже, к примеру, в деревне родилась, но я же не езжу туда!

И она ткнула пальцем в темноте.

– А нужно бы съездить, – опять рыкнул Аким. – От твоей деревни только кладбище осталось, где вся твоя родня лежит вместе с родителями, а ты ни разу не появилась, не провела...

– Найдутся, кто съездит и могилки приберёт, – перебила жена. – Живых не осталось, а мёртвым мы не нужны. Лежат и нечего их тревожить. Ай, надоел со своей деревней, хуже горькой редьки. Поступай как знаешь!

Недовольно сказала она, махнула рукой и отвернулась, не желая разговаривать.

– Если мёртвые не нужны живым, значит, это живые умерли, потому что самое ценное потеряли – душу, – сказал Аким и нахмурился, потому что сказал не жене, а скорее всего, самому себе. – Видать, и я душу теряю...

И задымил: густо, быстро – зло.

А через неделю выпросил несколько отгулов, которые пообещал отработать, когда вернётся, взял билет и стал собираться. Жена отмахнулась от поездки. Отказалась. Категорически! Сказала, что ей нечего делать в этой дыре, и сама засобиралась в столицу. Хотела проведать дальних родственников, которые всю жизнь прожили там и её звали, а она, дура такая, за деревенского вышла замуж, а могла бы припеваючи жить и в ус не дуть, как она сказала, хлопнула дверью и укатила. Жизнь на закат, а она всё деревней попрекает, всё не за того вышла. Так выходила бы... Аким пожал плечами, а может, и к лучшему, что жена не поехала с ним. Зудела бы и зудела с утра и до вечера, всем бы плешь проедала. Сама спокойно не живёт и другим покоя не даёт...

Всего полтора дня на поезде, а потом два часа на автобусе или попутке до деревни, кажется, не так далеко, а он столько времени не приезжал. Аким взглядом проводил автобус, на котором добрался из райцентра, потом подхватил сумку с гостинцами и неторопливо заша-

гал по обочине, останавливаясь и пропуская машины, которые изредка проезжали мимо него. Взглянул на деревню. Изменилась. Постарела, что ли... Дома приземистые. Потемнели от времени, словно выцвели под солнцем да ветрами, разбежались трещины по брёвнам, будто морщины на лицах стариков – чёрные и глубокие и окна поблёлкли, нет солнечных зайчиков, что ослепляли в далёком детстве. Потускнели эти окна-глаза, в землю смотрят, а некоторые в небо уставились. Возле клуба, что стоял между двумя деревнями, пусто. Непривычная тишина. А раньше бывало, Аким помнил, возле клуба всегда толкался народ. Если не взрослые, так ребята с девчонками. В любое время толклись, если не в кружок ходили, тогда в библиотеку прибежали, а то и просто собирались, чтобы посидеть на крыльце, поболтать, поиграть да от души посмеяться. Вечерами кино показывали, даже артисты приезжали, а уж всякие лекции – это постоянно. А там школа, которую едва видно среди высоченных тополей. Вон как они разрослись! Если не знаешь, мимо школы проскочишь и не заметишь. А сад, какой – позавидовать можно. Аким помнил, как каждый год они работали в саду. Вдоль забора смородина росла. Листочков надерёшь – и в чай. Ух, вкусно! И весь сад был засажен яблонями да грушами. Аким с одноклассниками землю перекапывали, сухие ветви обрезали, известью красили стволы, и тогда яблоньки с грушами нарядными становились, праздничными, а уж весной, когда всё цветёт, воздух густой, пахучий, словно облаком школу окутывал...

Аким вздохнул. Остановился, а потом зашёл в магазин, что стоял посреди деревни. Возле входа прислоненный велосипед. Видимо, какой-нибудь мальчишка примчался. Наверное, у мамки выпросил мелочь на конфеты, вот и прилетел. А рядом стоит мотоцикл. Грязный. Лишь руль блестит, а остальное всё в ошмётках грязи, словно не по улице ехал, а через непроходимые болота пробирался.

Зашёл. И правда, мальчишка возле витрины крутится, что-то рассматривает, мужик в грязной одежде, видать, он прикатил на мотоцикле, две старушки о чём-то с продавцом разговаривали да ещё один мужичок на подоконнике сидел и мелочь пересчитывал. Аким вздохнул. Воздух густой в магазине, настоящий на всевозможных запахах. Тут и хлебом пахнет, и колбасой копчёной, что редкость для деревни, а для их семьи – тем более, потому что слишком дорогая, а мать, как помнил Аким, всегда говорила, что такая колбаса – одно баловство и только. К хлебному запаху примешалась селёдка. Аким сглотнул и непроизвольно взглянул на витрину. Пусто. Селёдку не видно. Наверное, разобрали, а бочку, как обычно, на задний двор укатали, а в магазине лишь запах остался. Конфеты на витрине. Небольшой выбор, рядом пряники и разноцветный мармелад. Мармелад слипся в комок. Залежался, да и тепло в магазине. В дальнем конце макароны с вермишелью и рис, соль виднеется. Какие-то банки на витрине. Консервы пирамидой высятся...

– О, неужто наш Аким Базанин прикатил? – в стороне раздался хриловатый голос и он, оглянувшись, увидел небритого мужика в пузырястых штанах и в майке, а на голове засаленная фуражка, который сидел на подоконнике. – Как надумал? Тебя уж давно в деревне потеряли, – и тут же соскочил и, прихрамывая, подошёл к Акиму. – Слышь, Базанин, добавь, а? Вчера с соседом перебрал, аж гудит в башке. Сунулся было к нему с утра, а там его баба за ухват схватилась. Дура! Слышь, Аким, чуток добавь, на бутылку не хватает, а Валька, зараза такая, – он кивнул на продавщицу, – в долг не даёт.

И протянул руку.

– Не надоело пить-то, Роман? – едва узнал в мужике своего одноклассника. – Сторишь по пьянке.

– Ну и что? – беспечно махнул рукой Роман. – Некому горевать. Один я, совсем один. Вот и заливаю горе.

Он хохотнул и снова протянул ладонь.

– Не балуй его, – ворчливо сказала продавщица. – Опять напьётся и начнёт по деревне куrolесить. Никакого покоя от него. Ночь-полночь, а он рюмки по деревне собирает. И вразумить некому, – и махнула тряпкой. – Все вещи пропил. Диван и табуретка стоит и всё на этом.

– Не ври, Валька, у меня ещё два стакана есть и полный угол пустых бутылок, – сказал Роман и снова ткнул вперёд грязную руку. – Добавь на опохмелку. Ведь сдохну...

– Иди отсюда, алкаш! – снова рывкнула продавщица. – Пожалуюсь участковому. Пусть приструнит...

Аким купил конфеты, хотя в сумке уже лежали. Взял несколько булок хлеба. Хлеб всегда пригодится. Мать сама пекла хлеб: вкусный был, душистый – страсть! Зайдёшь во двор, хлебным духом пахнет. Отрежешь горбушку, откусишь и... И Аким не удержался, звучно сглотнул, вспомнив материнский хлеб. Сунул в сумку с десяток спичечных коробков – сгодятся в хозяйстве, расплатился и заторопился на улицу.

Он неторопливо шагал по улице, с любопытством поглядывая по сторонам. Да, многое изменилось, пока его не было. И правда, постарела деревня, вроде как пониже стала росточком-то, а некоторые дома заколочены. Может, уехали, в город подались, а возможно, и того... на погост снесли. И Аким невольно взглянул вдаль, где в тени берёзового колка находилось кладбище. Гляди ж ты, как разрослось! Вдохнул. Нахмурился. А потом снова зашагал. И заторопился, на душе полегчало, когда заметил родной дом, а не развалюху, что во сне привиделась. А вон и крыша мелькнула за сиренём, что заполонил весь палисадник. Толкнул калитку. Заскрипела, взвизгнула она, и следом кинулась под ноги собачонка: рыжая, юркая и звонкая и загавкала, заверещала, и заметалась возле него, раздумывая, то ли укусить, то ли поластиться. И поджав хвост, шмыгнула в небольшую конуру, что стояла в тени забора, когда донёсся грозный окрик.

Аким Базанин прислонился к калитке. Сердце взбрыкнуло, неровно забилося, аж дыхание спёрло, когда он взглянул на дом. Наконец-то, добрался. И стоял так, пока не донеслись неторопливые шаги. На крыльце появился крепкий парень. Зевая, он потянулся, взглянув на Акима, и поперхнулся, а потом бросился к нему, по-медвежьи облапил и заколотил по спине крепкими ладонями.

– Братуха приехал, брательник! – протяжно закричал он и, повернувшись к дому, опять крикнул: – Мамка, наш Акимка прикатил. В галстукe. Весь важный – страсть! Встречай гостей!

И снова принялся обниматься.

Громыхнула дверь. Мать, как была босиком, так и бросилась к нему. Повисла на нём. Заохала мать, заплакала, обнимая сына. Аким глядел на неё, улыбался, а в душе сумрак был, когда увидел постаревшую за эти годы мать. Была-то невысокой, а сейчас вообще, словно к земле её потянуло: маленькая, худенькая и – седая...

Так и зашли в дом, обнявшись. Мать вцепилась, словно он уйдёт, и не отпускала, пока Аким на табуретку не уселся. И лишь после этого захлопотала, поминутно поглядывая на сына, а сама нет-нет и всплакнёт. А раньше слёзы за ней не водились. Бывало, появится слезинка и исчезнет, а может, ладошкой смахивала, чтобы никто не увидел. А сейчас, вон она как – дорожки на морщинистых щеках. Господи, а морщин-то сколько стало! Аким мотнул головой. Постарела мать, а он не заметил. И виноватить нужно себя и только себя и никого более. Сам не ездил. Всё причины искал, всё на «потом» откладывал. А сейчас сидел за столом и на сердце боль: жгучая, сильная и тягучая. Боль, от которой никуда не денешься. Она всегда и везде будет с тобой, пока жива память...

– Слава богу, приехал, – сказала мать и кивнула на окно. – И радость в дом пришла. Глянь, как солнышко заиграло, будто на Пасху, словно праздник светлый пришёл. А может и настал, потому что сынок домой приехал. Я уж заждалась, каждую минуточку в окошко поглядываю, на каждый скрип двери поворачиваюсь. Жду, когда ты приедешь. И дождалась...

И опять намокли дорожки на морщинистых щеках.

– Мамка, прекрати, – нахмурившись, буркнул младший сын, Сашка, и повернулся к брату: – Вот так всегда, как начнёт вспоминать всех, так слёзы в три ручья. Плаксой стала. Бывало, сидит, а потом глянешь, она ревёт. Почему, говорю, плачешь-то, а она плечами пожимает – сами текут. Так и живём...

Аким сидел, доставал гостинцы, раскладывая на столе, вполуха слушал братишку, а всё больше за матерью наблюдал и невольно, исподтишка покачивал головой, удивляясь, как же она изменилась с тех пор, как не стало отца. Исхудала, кожа да кости остались, и одежонка-то старенькая, вон латки на кофте, выцветший платок, из-под которого выбились седые волосы, лицо в морщинах, а руки тёмные, с вьёвшившейся грязью, на руке свежий шрам, аж по сердцу словно резанули. Боль ноющая, тягучая... Аким мотнул головой и посмотрел на братишку. И правда, мать писала, что вымахал. Когда в город приезжал, парень как парень, ничего особенного, а сейчас перед ним богатырь сидит. Про таких говорят, косая сажень в плечах. Ручищи-то какие, ручищи! Вырос братишка, может, возмужал, а он не заметил. Всё занят был, чтобы с братом посидеть и поговорить, когда он приезжал. Так, пустые разговоры, как будто тяготился братом, а он уезжал и на душе легче становилось. А почему так – он не знал... И времени не было, чтобы домой съездить. А сейчас сидел, смотрел на старенькую мать, на повзрослевшего, возмужавшего брата, и такое чувство было, словно взяли и вычеркнули из его жизни все годы, сколько не был в деревне. Одним взмахом – раз и исчезли годы. Ушли они, а куда, да бог знает. Наверное, мимо эти годы прошли, на пустыки потрачены. Оглянешься в прошлое, и ничего не видишь, кроме работы, кроме санатория или курорта в отпуске и бесконечных поездок по столичным магазинам. Все потраченные годы поменял на тряпки, обувь и всевозможные безделушки для дома, а что сделал для матери и родного дома. – Аким задумался, и глубокая морщина пробежала по покатоному лбу. Ничего не сделал, даже на письма не отвечал, потому что считал, что письма – это пустая трата времени. Изредка на праздники открытку отправлял и всё на этом.

Аким закряхтел, замотал головой. Братишка, сидевший напротив, усмехнулся, словно чувствовал, почему он нахмурился. Видать, понял, но не стал от дум отвлекать. Пусть сам разберётся как в жизни, так и со своей душой...

– Ну, сынок, рассказывай, как живёшь, – сказала мать, когда они стали пить чай. – Чем занимаетесь. Вообще, за жизнь расскажи...

– Что говорить-то? – пожал плечами Аким. – Всё хорошо. Нормально живём. Грех жаловаться, – и тут же перевёл разговор, кивнув на братишку: – Шурка, ты не обижай мать! Гляди, уши-то надеру и не посмотрю, что вымахал.

– За своими ушами следи, – буркнул братишка и шумно отхлебнул чай. – Вас нужно в первую очередь драть и ремня давать, что в деревню нос не кажете. Умотали и живёте, в ус не дуете. Скоро забудете, как друг дружку зовут, а про деревню и говорить нечего, вообще позабыли дорогу. Эх, да что говорить-то!

И махнул рукой.

– Ты, Сашенька, не повышай голос на старшего брата, – сдвинув бровки, заворчала мать. – Мал ещё старшим указывать. Вот будет своя семья, тогда узнаешь, почём фунт лиха. Будешь с утра и до ночи крутиться, лишь бы в семье всё было, лишь бы голодными не сидели. А сейчас, пока живёшь с мамкой, не перечь старшим! – Она погрозила пальцем и повернулась к сыну: – Слышь, Акимка, повлияй на него. Я уж весь язык обколотила, а он только смеётся.

– Ну, мам, – забубнил Сашка. – Хватит, а?

– И ничего не хватит, – опять погрозила мать. – Меня не слушает. Совсем от рук отбился.

– Взрослым себя почуял, да? – Аким посмотрел на мать, потом перевёл взгляд на братишку: – Не расстраивай мать! Что натворил?

– Что-что... Когда по девкам бегал, – стала жаловаться мать, – боялась за него, что мужики из окрестных деревень соберутся, да рёбра пересчитают. Ладно, постращали его и

отстали. Я уж втайне думала, хоть бы одна родила, чтобы он образумился. Так нет, Шурка стал захаживать к Ленке Новиковой, вдове, а у неё дитё малое. И чем дальше, тем чаще стал пропадать у них. Что ему, незамужних девок не хватает, если схлестнулся с вдовой да ещё с ребятёнком, а? Того и гляди в дом приведёт...

И посмотрела на старшего сына – защиту искала.

– Вдова – не гулящая девка, – исподлобья взглянув, взъерепенился Сашка. – А Ленка – девка хорошая. Вообще уйду, если начнёшь запрещать. Одна станешь жить, тогда узнаешь! Ага...

– Вот, Акимка, видишь. – Мать ткнула пальцем в младшего сына. – Видишь, как разговаривает. Слово поперёк не скажи, сразу в кошки-дыбошки!

Аким взглянул на мать. Потом посмотрел на братишку.

– Даже не знаю, что сказать-то, – помолчав, Аким развёл руками. – Если девка нравится, пусть живут. Не запрещай. Сашка – парень взрослый, пора своим умом думать. А что ребёнок? Дети – это не помеха. Своих народят и не различишь, где свои, а где чужие – все станут родными.

– Правду говоришь, брательник. – Братишка кивнул на мать: – Настюха прибежит, гляжу, а мать нарадоваться не может. Усядутся вдвоём и шепчутся. Видать секретами делятся. Всё наговориться не могут. Обнимаются. А уходит, мать исподтишка гостинчик норовит сунуть, чтобы я не заметил. А я всё замечаю, всё! А сейчас ворчит...

– Как не ворчать-то? – Мать помолчала, вздёрнула плечиками. – Я ж хорошего своим детям желаю. Чтобы не позорили себя перед деревней, а ежели сошлись, так жили, душа в душу, как мы с отцом...

Сказала и закачалась, вспоминая его, и опять на щеках мокрые дорожки.

Аким сидел за столом. Смотрел на мать и братишку. Думал и радовался, что сны не сбываются, какие замучили его. Не успевал уснуть, а уже перед глазами мать и брат, словно что-то случилось с ними. Хотя... да, наверное, случилось. Вон скоро братишка жену приведёт в дом. Это же хорошо. Мать, конечно, она должна, даже обязана поворчать, на то она и мать – стержень в семье, который удерживает всех. И не дай бог, если стержень сломается, тогда вся семья распадётся и каждый станет жить для себя...

– Что задумался, братуха? – Сашка толкнул локтем. – Всё будет хорошо. А мать поворчит и перестанет. На то она и мать.

Сказал, словно мысли Акима прочитал.

– Знаешь, Шурка, ехал сюда и думал, чтобы тебя в город забрать. – Аким пошкрябал подбородок. – Думал, что молодым делать в деревне? Успеешь в навозе поковыряться. Лучше бы помотался по свету. На работу устроился. Глядишь, квартиру получишь, и зажили бы в своё удовольствие. Пока молодые, надо ездить, а постарше станешь, так начнёшь задумываться, а нужно ли тебе с места срывать или нет? Чем старше становишься, тем тяжелее решиться, тем более бросать насиженные места, словно от себя, от души отрываешь. Год – кусочек, год – кусок, год – кусище. А сейчас поглядел на вас, послушал и даже не знаю, что и сказать-то...

И развёл руками.

Младший братишка задумался. Усмехнулся. Привстал с табуретки и раздёрнул занавески на окне.

– Взгляни туда. – Он ткнул пальцем, показывая на далёкие горы, на блестящую под солнцем речку, на луга, что были на другой стороне, и на берёзовые колки, что взбегали по склонам. – Они не снятся ночами? Думаю, что снятся, потому что в городе этого не увидишь. А про деревню вспоминаешь? – Он опять ткнул пальцем. – Я не хочу в город уезжать, где всё чужое и незнакомое, а здесь – это моё. – Он обвёл рукой, показывая. – Куда ни глянь, я везде побывал, каждую тропку знаю, каждый родничок на берегу речки. Как говорят, где родился, там и пригодился. – А потом засмеялся, заметив, как Аким смотрел в окно. – Вижу, братель-

ник, снится деревня! – И тут же нахмурился. – А в город... Был в вашем городе. Красиво, но скучно. Походил по улицам, поглазел. Народищу много и ни одного знакомого. А на кого мамку оставлю? Как же она одна будет жить в деревне? Нельзя! Тем более что своё хозяйство. Без присмотра не оставишь, а мамка не справится одна-то. Нельзя уезжать! – И повторил: – А тебе снится деревня, по глазам вижу. Вон, как заблестели!

Сказал он и засмеялся.

Аким сидел и не знал, что ответить братишке. И правда, снится деревня, ох как снится! Порой, бывало, спишь, а сам запах свежего хлеба чуешь. Руку протянешь и пытаешься взять кусочек. Проснёшься, во рту вкус хлеба, а на душе разочарование. А бывало так, что идёшь по улице и откуда-то потянуло дымком, словно баню топят. Не удержишься, повернёшься, и пытаешься разглядеть, где же она – баня деревенская да ещё посреди города. Частенько мать окликала. Тоже, услышишь и вздрогнешь. Неожиданно как-то, и сразу поворачиваешься, хотя прекрасно знаешь, что она в деревне. Да, во снах частенько бываешь и в деревне, и в тех местах, что сердцу милы были, где, как казалось, частичку души своей оставил. Наверное, так и есть...

– Ладно, мам, не ругай Шурку, – вздохнув, сказал Аким и растёр ладонями лицо. – Пусть живёт. Пусть жену приводит в дом, и живут. И тебе полегче станет, и внучка уже бегаёт – это самая главная помощница. Сама же радуешься, когда она прибегает. Значит, судьба такая. – А потом взглянул на них: – Полдня сижу, разговоры разговариваем, а никто ещё не рассказал, как сами-то живёте.

– Да как... – Мать пожалала плечиками. – Хорошо живём. Не жалуемся. И птицу держим, и коровка есть. Одно время хотела продать её, а Шурка запретил. Сена наготовил, аж на две зимы хватит. И зерно заработал. Хозяйственный! Всё у нас хорошо, сынок, а что ворчу, так уж старею, поэтому всякие мысли в голову лезут. И тебя жду. Каждый день жду. Утром поднимусь и в окошко поглядываю, на каждый окрик оглядываюсь. Вечером ложусь и кажется, что сейчас ты в дверь постучишь. Лежу и жду, когда зайдёшь...

И опять хлюпнула носом, снова мокрые дорожки на морщинистых щеках.

– А что нового в деревне? – отвлекая мать, сказал Аким. – От остановки шёл, всё головой вертел. Давно не был. Соскучился.

– Да, давненько не приезжал. – Мать незаметно провела ладошкой по щекам, вытирая слёзы. – Видать, сильно занятый, ежели добратся не можешь. А что деревня... Живёт по-маленьку. Одни на свет появляются, а других на мазарки относят. А некоторые до сей поры коптят небо. Ну и пусть живут, сколько свыше дадено. У каждого свой срок. А ещё Пошехонины стали погорельцами. В прошлом году полыхнуло. Никого дома не было. Одни головёшки остались. Ладно, сами живы. Председатель обещал помочь. Лес выделил. Новую избу поставят. Нашего Шурку позвали на помощь. Что ещё нового? – Она пожалала плечиками. – Прошлый год картоха уродилась – страсть! По верхам погреб заложили и ещё осталась. Продали. Шурке костюм справили, а мне отрез взяли, – и засмушалась, мелко махнула рукой. – Да куда мне его? Стара уж стала, чтобы в обновлениях щеголять, а Сашенька ворчит. Говорит, раз купили, значит, платье сошьёшь. Ага, пошью платье и стану в нём корову доить, – опять махнула рукой, и рассыпался смех. – А некоторые в город перебрались. Надоело одним жить, вот и поехали к детям. А вот нужны ли они там – никто не знает. Помыкаются, помыкаются и вернуться, как бабка Каманиха. С осени уехала, думала, в городе мёдом намазано. Всю зиму просидела в четырёх стенах, улицы не видела. Говорит, в окошко с пятого этажа, как из скворечника, смотрела на людей. Весь день одна, а вечером дочка с зятем вернуться, каждый своими делами занят. Даже поговорить не с кем. Сунулась было к соседям, а дверь оставила открытой, так дочка вечером дала нагоняй. В общем, Каманиха дотерпела до весны, а там запросилась домой. Ладно, избу не продала. Вернулась, и нарадоваться не может, а уж наговориться – тем более. И сказала, что дальше околицы шагу не ступит. Хватит, нагостилась!

Сказала мать и меленько засмеялась.

– А, забыл про Петруху Лопырёва рассказать, – шлёпнув по лбу, хохотнул Сашка. – Знаешь его. Ну, который на молоковозке работал. О, учудил! Вся деревня покатывалась. Что-что... Жена родила у него. Петруха обрадовался – страсть! У них же один сын был. И снова сына родила. Ну и того... Петруха загулял на радостях. Со свояком съездили в райцентр, поорали под окном, чуть было в участок не угодили. Ладно, пожалели их, не стали забирать. Радость для мужика – сын родился! В общем, они вернулись, а свояк говорит ему, что нужно папанёнка записать, а то как-то без имени ни туда и ни сюда. И потащились в контору, дураки пьяные. Свояк говорит, мол, как назовёшь сына? А Петруха не раздумывая: «Витькой запиши». «Как Витькой? У тебя же старший сын – Витька!» «Ну и что? – хохотнул Петруха. – Одного позову, а двое прибегут. Хорошо же!» Он пошутил, а свояк взял и записал и печать поставил. Когда протрезвели, уже поздно было исправлять. Вся деревня знала и уже Петрухиной жене передали. Она вернулась и первым делом взяла кочергу и об спину сломала. Петруха целый месяц в бане ночевал, домой не пускала. А потом привыкла. И правда, мимо их двора идёшь, возьмёшь и нарочно крикнешь: «Витька!» Глядь, сразу оба бегут, – и Сашка засмеялся, а потом нахмурился. – Ты помнишь Володьку Мелентьева? Ну, у которых дом на краю деревни стоит?

– Рыжий, что ли? – Аким сказал и кивнул на окно: – Вон там жил, где тополь торчит, да? Конечно помню! Друг детства. Вместе же на улицу бегали, а подросли, по вечерам возле клуба с девчонками дружили. Разве такое забудешь? – Он засмеялся, а потом сказал: – А разве он не уехал из деревни? Мне казалось, что в городе живёт.

– Некуда Мелентьеву ехать, – сказал Сашка. – Ты уехал в город, а его мать не отпустила. Всё боялась за него. И отбоялась, а теперь...

И Сашка махнул рукой.

– О, тогда схожу к нему, – перебивая братишку, сказал Аким. – Тыщу лет не виделись. Посидим, поговорим. Детство вспомним, как баловались, как...

– Ага, сходишь... на кладбище, – запнувшись, перебил Сашка. – Там поговоришь с ним. И мотнул головой, взъерошивая волосы.

Мать, сидевшая напротив, опять всплакнула.

– Как так? – с недоумением взглянул Аким. – Что произошло?

– Улетел с Чёртового моста, – сказал Сашка. – Разбился. Сам знаешь, какой это мост...

Да, Аким помнил Чёртов мост. Так называли не мост, а отрезок дороги, который проходил по склону горы. В сухую-то погоду по нему ехать страшно, того и гляди мотнёт машину или мотоцикл и улетишь почти по отвесному склону вниз, где протекала речка. А в дождливую погоду вообще опасались ездить. Машины, подъезжая к этому месту, высаживали пассажиров, а сами прижимались к склону и еле ползли с открытой дверцей, чтобы успеть выскочить, если что-то случится. Все погибали, кто срывался...

– А что его понесло по мосту? – сказал Аким. – Есть же объездные дороги.

– Мать сказала, чтобы он съездил к дядьке Никону, что в соседней Лосевке живёт, – стала рассказывать мать. – Он помчался, а на дворе уже темно было. Видать, поленился в окружную проехать, а сунулся напрямки. Разогнался, как сказали, и только выскочил на мост, мотоцикл потащило к обрыву, и он не удержался. Как вцепился в него, так и улетел вниз. Мать убивается. Себя винит, что сын погиб. Не дай бог пройти через такое! Мужа похоронила, когда ребяташки маленькие были. Первый сын в армии погиб. Следом средний помер. Под лёд провалился. Выкарабкался, но заболел. Огнём полыхал. Не спасли. Умер. Все думали, что она умом тронется. Ничего, потихонечку оклемалась, но с той поры всё над младшеньким сыном тряслась, над Володенькой, и тоже не уберегла. Говорит, могла днём отправить его, а сказала вечером, когда стемнело, поэтому разбился. Одна осталась на белом свете. Всех схоронила. А теперь каждый день ходит на мазарки и разговаривает с сыновьями. Извелась. Одна тень от неё осталась. Придёт и всё прощения просит...

Страшно, когда дети уходят раньше родителей. И как родителям доживать свой век с таким грузом на сердце – это никто не знает, знают лишь те, кто потерял детей, кто до последнего дня своего корил себя и ждал часа последнего, чтобы скинуть этот непосильный груз и встретиться с ними.

– Ладно, мам, перестань, – сказал Сашка, поднялся, вышел из-за стола и потянулся. – Баню топить?

– Натопи, сынок, натопи, – закивала головой мать. – Акимушка попарится. Давно не был в баньке, отвык, наверно. В городе не помоешься. Одно баловство – ваше корыто.

Махнула рукой и мелко засмеялась.

– Помочь с баней, Шурка? – следом поднялся Аким.

– Нет, сам управлюсь, – отмахнулся Сашка и направился к выходу. – Отдыхай, брательник.

И, хлопнув дверью, вышел.

– Ладно, тогда прогуляюсь, – сказал Аким, направляясь к двери. – На деревню посмотрю. Может, знакомых повстречаю. Посижу, поговорю с ними. Давно уж никого не видел.

– Иди, сынок, иди, – махнула рукой мать. – Посмотри, как мы живём. А вернёшься, в баньку сходите, городскую шелуху смоешь с себя. А потом повечеряем, на крыльчке посидим и поговорим. Всё ж в родной дом вернулся. – И опять сказала: – Иди...

Аким вышел на крыльцо. Закурил, поглядывая на братишку, как тот неторопливо спустился по меже к речке, где стояла банька, и скрылся в ней. Потом вышел. Наверное, заметил, что Аким стоял на крыльце, помахал ему рукой и заторопился с ведрами к речке, чтобы натаскать воды в баню...

Аким мотнул головой. Тишина... Нет, не тишина. Деревня живёт, но здесь как бы своё время. В основном оно замедленное и тягучее, а поэтому жизнь спокойная и неторопливая. На улице загоготали гуси. Аким взглянул. Следом медленно шла по тропке девчонка в выцветшем платишке и с прутом в руках. Взглянула на солнце и не удержалась, чихнула, а потом звонко рассмеялась. Зашмыгала носом, приложила ладонку к глазам и посмотрела на Акима, а потом закивала головой – поздоровалась. В деревне принято здороваться, как со своими, так и с незнакомыми людьми. А в городе такого не увидишь... Мимо протрусил собака, опустив голову к земле. Остановилась возле столбика и задрала лапу, а потом отправилась дальше по своим собачьим делам. Поверху по дороге протарахтел мотоцикл и замолк вдалеке. Загорланил петух, следом отозвались ещё несколько, и опять наступила тишина. А вскоре скрипнула калитка. На улице показалась бабка Кузьмиха: маленькая, сторбленная старушонка в тёмных одеждах и в безрукавке, сделанной из телогрейки. Чуть ли не пополам согнувшись, опираясь на клюку, она оглядела улицу и зашоркала в сторону магазина, а потом остановилась возле соседнего двора и помахала рукой, подзывая соседку. И долго стояла, о чём-то с ней разговаривая, затем поправила платок и побрела по тропке. Аким мотнул головой, наблюдая за улицей. И, правда, здесь другая жизнь: неторопливая, размеренная и настоящая, не то что в городе, где вечная суета, где по сторонам взглянуть некогда, где всегда торопишься и мчишься, стараясь перегнать время, чтобы за всем успеть. А оглянешься в конце жизни – и ничего. Пустота и ничего более. Вся жизнь потрачена на спешку. А здесь живи и радуйся жизни, а вокруг тебя такая красота, аж дух захватывает. Но главное – никуда не нужно бежать сломя голову. Просто живи, а спешка – это лишнее в жизни, потому что, как бы ты ни торопился, а дальше мазарок не отнесут. Все встретимся там. У каждого человека свой срок в жизни, но остановка одна и та же – кладбище. Мимо никого не пронесут, у каждого будет свой холмик земли.

Аким опять мотнул головой. Посмотрел на братишку, который возле бани колол дрова и складывал в небольшую поленницу в предбаннике. Махнул рукой, куры опрометью бросились с крыльца и тут же принялись искать корм среди травы. Заскрипела калитка, и Аким вышел на улицу. Он шёл по улице, поглядывая по сторонам. Иногда приостанавливался и смотрел на

какой-нибудь дом или место, где был с ребятами в далёком детстве, и тогда его лицо светлело, словно он возвращался в своё прошлое. Память не умирает в человеке – она дремлет и достаточно увидеть что-то до боли знакомое: будь то излучина реки или футбольное поле, где играли с ребятами, цветущая сирень или яблоневый цвет, даже непритязательный одуванчик возле дороги, и тогда память просыпается и уже не отпускает человека, а всё больше и больше напоминает ему о прошлом, о детстве и юности, о друзьях и первой любви, да обо всём напоминает, что было там, в том далёком прошлом, но чего очень не хватает здесь – в нашем настоящем...

Аким Базанин вздохнул. Да, память заставляет вспоминать прошлое. Некоторых уж давно на мазарки снесли. Молодыми ушли, жизни не повидав, а другие живут. И многие разъехались, с кем в детстве были не разлей вода. А сейчас редко созваниваешься, ещё реже спиываешься, тем более – видишься. Всё осталось в прошлом, но это прошлое такое тёплое, такое желанное, что в самую тяжёлую минуту вспоминаешь о нём и каждое мгновение, проведённое там, словно силу придает и возвращает тебя к жизни здесь...

Он неторопливо шагал по улице. Господи, как же тут хорошо! Каждая мелочь напоминает о прошлом, заставляя улыбнуться, но может затронуть так, что на глазах появится слезинка. Не слёзы боли, а слёзы о прошлой жизни, сожалея, что время ушло, а ты не заметил его за всякими ненужными пустяками, гонясь за призрачным счастьем. А настоящее счастье вот оно, рядышком, протяни руку и дотронешься до него. Было бы желание...

Аким курил, поглядывая на холмистые склоны, что были видны за речкой. Туда бегали с ребятами зимой, чтобы покататься на лыжах. Как сейчас помнил, несёшься по склону, а ветер слёзы выбивает, и ничего не видишь, лишь слышно, как лыжи стучат по насту. Страшно на душе, но в то же время был такой восторг, что хотелось набрать побольше воздуха и закричать: громко, протяжно и радостно. И восторженно орали, и неслись по склону, и падали, но снова поднимались и опять мчались вниз. И кричали...

А там, где узкий мостик, всегда овечек пасли. Пока прохладно, овечки паслись, а наступала жара, они забивались в кусты, в тенёчек и до вечера лежали. Приходила мать. Обед приносила и сидела рядышком, дожидалась, когда юные пастухи пообедают, а потом наказания давала, когда вести и как вести, чтобы овцы не разбежались. Ничего, справлялись, хоть и мальчишками были... И рыбу с мальчишками ловили, картоху пекли, а ещё за горохом бегали на колхозное поле, едва появлялись стручки. Ух, какие же сладкие – эти стручки! А потом бежали в школьный сад, и пока никто не видит, полные пазухи набивали кислющими яблоками. Грызли, пока оскомины не появлялись на зубах, а потом раздавали всем желающим. Аким поморщился и тягуче сплюнул, вспомнив яблоки из детства. Эх, память ты память...

А здесь когда-то жила Валька Матросова. Аким приостановился и прислонился к огромному кряжистому дубу. Раньше был большим, а сейчас вообще стал неохватным. Раньше под ним лавочка стояла, и они с Валькой просиживали до петухов. Обо всём говорили. Планы строили на будущее. Почему-то оба были уверены, что вырастут, поступят в техникум или институт, а потом поженятся. И всю жизнь будут вместе, ни на минутку не расстанутся. Чистые мечты далёкой юности, словно весенние наряды жизни – яркие, волнующие и светлые. Аким стоял, прислонившись к дереву. Сколько лет прошло, уж старость на подходе, а гляди ж ты, ничего не забыл, каждую мелочь помнит. Да уж, хотели через всю жизнь пройти, а не получилось. Наверное, потому, что это – жизнь. Он укатил в город, а через год уехала Валя. К родственникам отправилась и там осталась. Понравилось. И город хороший, и люди такие же. Первое время переписывались. В любви клялись, друг без друга жить не могли. Обещали, что после учёбы будут вместе и тогда уже не расстанутся. И правда, чистые и светлые мечты... В армии отслужил, вернулся и узнал, что Валя вышла замуж. Что-то в душе ворохнулось, но обиды не было. Может, повзрослел, а может, жизнь заставила смотреть на всё другими глазами... И всегда с теплом вспоминал её. С теплом и легкой грустинкой... Детство и юность, какие же они славные – эти времена!

Аким Базанин не заметил, как добрался до кладбища. Он постоял возле берёзок, поглядывая по сторонам. Господи, как же они выросли! И берёзы выросли, раскинули ветви, едва слышно шелестят над головой, и кладбище стало большим. Вон уже повсюду холмики видны. Аким постоял, а потом приоткрыл воротца и шагнул внутрь. Тихо на кладбище. Люди рождаются, чтобы сюда попасть. Одни не торопятся, а кто-то мчится через жизнь. И не успевает рассмотреть, почувствовать вкус этой жизни, не успевает оглянуться, а последнее пристанище перед тобой. Осталось перешагнуть порог и всё. Маленький шажок, едва заметное движение и все заботы останутся позади. И все находят покой на погосте, у каждого свой путь, который заканчивается в этом месте. Раньше или позже, но – здесь...

На душе грусть. Аким оглянулся, а потом зашагал по заросшей тропке, всматриваясь в лица на фотографиях и в надписи на памятниках. Одни могилки ухоженные, а другие заброшенные. Видать, некому ухаживать. Может, они где-нибудь тоже нашли последнее пристанище, а может, поразъехались, как Аким и его братья, и до сей поры не могут найти время, чтобы проведать родителей, или вообще забыли дорогу в родной дом. Больно и обидно стало на душе. Аким мотнул головой. Господи, сколько же молодых похоронено! Жизни не видели, вкуса не почувяли, а уже лежат. И лишь здесь, всматриваясь в молодые и старые лица на фотографиях, начинаешь понимать, что жизнь слишком хрупка, оступись, и нет её – этой жизни, и поэтому она – ценна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.